М. Столяр



Я тебя отыщу

18+

для красоток 30+

Марина Столяр

Я тебя отыщу

«Автор»
2026

Столяр М.

Я тебя отыщу / М. Столяр — «Автор», 2026

Восемьдесят этажей над Чикаго, пыльные раскопки у Нила и джунгли Гватемалы, где прячутся гробницы майя, — три точки на карте одной истории, которая начинается с фуршета после научной конференции. Мэри — генетик из Сиэтла, которая работает над генной терапией и живёт в плавучем домике, где единственный шум по утрам — плеск воды о сваи. Ник — археолог и спонсор экспедиций, для которого Каир и джунгли давно роднее квартиры с видом на озеро Мичиган. Их миры не должны были пересечься: одна работает с цепочками ДНК под микроскопом, другой — с черепками и костями в раскалённом песке. Но случайное приглашение меняет расстояние между лабораторией и пирамидами на один перелёт. Базары Каира, музей с мумиями фараонов, шутки коллег по экспедиции и внезапная близость в номере с видом на Нил — всё укладывается в год, который начинается в Чикаго и обещает продолжиться там, где не действуют привычные правила дома. Куда на самом деле ведёт эта экспедиция — к находкам в песке или друг к другу?

© Столяр М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Призрак у алтаря 6
Глава 2. Формула одиночества 12
Глава 3. Встреча на фуршете 18
Глава 4. Та же комната, другой взгляд 26
Глава 5. Билет в один конец 31
Глава 6. Отель у Нила 36
Глава 7. Пыль веков 44
Глава 8. Забота без слов 52
Глава 9. С тобой и без тебя 60
Глава 10. Слишком близко 71
Конец ознакомительного фрагмента. 79

Марина Столяр
Я тебя отыщу

Глава 1. Призрак у алтаря

Чикаго просыпается медленно, слой за слоем: сначала розовеет кромка озера Мичиган, потом огонь занимается в стеклянных боках соседних башен, и только после этого свет добирается до окон восьмидесятого этажа, где он стоит с чашкой кофе, ещё слишком горячей, чтобы пить.

Город внизу похож на карту, которую забыли свернуть. Машины ползут по артериям проспектов, кто-то бежит вдоль набережной, кто-то спешит на утренний рейс. Отсюда всё кажется игрушечным, управляемым, разложенным по полочкам, именно так он и любит мир: на расстоянии, под контролем, без лишних прикосновений.

Телефон на кухонном острове оживает, будто чувствует, что хозяин проснулся. Потом опять. К тому моменту, когда кофе остывает до температуры, пригодной для питья, экран светится уже от целой очереди сообщений — ночные письма из Каира, где время на семь часов впереди и там уже вовсю кипит деловая жизнь.

«Подтвердите смету на вывоз находок». «Таможенный агент просит копию разрешения на экспорт». «Страховая компания интересуется стоимостью груза». Он листает это одним пальцем, не выпуская чашку, и в какой-то момент ловит себя на мысли, что за последние три года научился читать бюрократию быстрее, чем иероглифы.

Телефон звонит, когда он уже почти решает отложить его до завтрака.

— Ребекка, — говорит он, не глядя на экран. Голос её он узнаёт по первому вдоху перед словами, слишком деловому для такого раннего часа.

— Доброе утро, мистер Девероу. — В её тоне звучит вежливость человека, который давно перестал удивляться его привычке просыпаться в пять и работать до того, как весь остальной город успевает позавтракать. — У меня три вопроса по бюджету экспедиции и один — по фонду.

— Начни с неприятного.

— Фонд настаивает на вашем присутствии на завтрашней конференции и фуршете. Список гостей внушительный, будут представители двух крупных грантовых организаций.

— Ребекка. — Он подходит к окну, прижимает телефон плечом к уху, свободной рукой проводит по стеклу, стирая несуществующую пыль. Стекло холодное под пальцами, неожиданно холодное для такого солнечного утра. — Я археолог, а не дипломат. У меня плохо получается делать вид, что мне интересно, сколько стоит вино на столе у сенатора.

— Именно поэтому вам нужно идти и стараться быть дипломатом, а не придумывать отговорки.

— Это был комплимент себе, если что.

— Я заметила, — сухо отвечает она, и он почти видит, как она закатывает глаза где-то в своём офисе в тридцати минутах от него. — Второй вопрос: бюджет на раскопки в Гватемале превышает смету на двенадцать процентов из-за оборудования для георадара. Третий: таможня Египта требует дополнительные документы на груз, который летит через неделю.

— Переведи двенадцать процентов, подпиши документы моей электронной подписью, это в твоих полномочиях, и напомни мне о конференции за час до того, как мне нужно будет надеть галстук, который я ненавижу.

— У вас их три.

— Значит, напомни о каждом по отдельности, чтобы я мог поненавидеть их последовательно.

На том конце короткая пауза, которая у Ребекки Лин всегда означает не растерянность, а сдерживаемую улыбку.

— Будет сделано, мистер Девероу. Что-нибудь ещё?

— Да. Передай в фонд, что если они ещё раз назовут раскопки в джунглях «путешествием», я лично объясню им разницу между отпуском и работой в сорокаградусную жару среди комаров размером с воробья.

— Я смягчу формулировку.

— Не стоит, пусть представляют это во всей красе.

Она отключат звонок с коротким смешком. Ник кладет телефон на столешницу чехлом вверх, будто этим жестом можно отгородиться от остального дня хотя бы на пару минут.

Сарказм давно стал для него чем-то вроде рабочего инструмента, таким же необходимым, как щётка для расчистки находок: им можно снять верхний слой пыли с любого разговора, не затрагивая того, что лежит глубже. Люди слышат остроту, смеются или хмурятся и уходят довольные тем, что получили от него ответ. Никто не задерживается достаточно долго, чтобы спросить, что там, под слоем иронии.

Он снова смотрит на город. Солнце уже поднялось выше, заливает улицы жёстким утренним светом, в котором тени становятся короче и резче. Где-то там, в одной из этих башен, наверняка сидит ещё десяток таких же, как он: успешных, одиноких, запертых в собственных высотах добровольно, потому что так проще. Так безопаснее.

Он отворачивается от окна и натыкается взглядом на собственное отражение в тёмной полосе стекла между оконными рамами. На секунду, пока глаза ещё не привыкли к игре света, лицо в отражении кажется ему старше: глубже залегли тени у глаз, резче обозначилась складка у рта, будто там навсегда поселилась усталость, которую не стирает ни один отдых. Он смотрит на это чужое-своё лицо почти с интересом, как на артефакт, найденный не там, где ожидалось.

Потом моргает, и отражение возвращается в привычную форму: уверенный мужчина под сорок, с утренней щетиной и чашкой кофе, человек, у которого всё под контролем. Он поправляет воротник рубашки, хотя поправлять там нечего, и отворачивается от стекла, как будто можно так же легко отвернуться и от того, что мелькнуло в нём секунду назад.

* * *

Ник входит в свой кабинет. Садится за стол. Ребекка приносит кофе, в это время звонит стационарный телефон.

— Спасибо, Ребекка. Зайдите попозже. Я отвечу.

Голос в трубке принадлежит кому-то из отдела контрактов, и Ник отвечает ему машинально, одновременно перебирая стопку бумаг, скопившуюся на углу стола за неделю. Пальцы скользят по счетам, приглашениям, письмам от университетов, которые хотят его денег больше, чем его экспертизы, и вдруг натыкаются на плотный конверт с эмблемой адвокатской конторы, выцветшей до серого.

— Да, пусть пришлют исправленную смету, — говорит он в трубку, а сам уже вскрывает конверт большим пальцем, не глядя толком, что внутри: старая привычка не оставлять бумагу непрочитанной.

Письмо датировано тремя годами назад. Он узнаёт шрифт раньше, чем смысл слов доходит до сознания: это копия соглашения о расторжении брачного договора, застрявшая где-то между папками, которую кто-то из его людей зачем-то решил откопать и вернуть на стол, будто это имеет значение сейчас.

— Мистер Деверо?

— Пришли смету, я сказал, — повторяет он и кладёт трубку, не дожидаясь ответа.

Проход в церкви белый, слишком белый, свет бьёт через высокие окна и дробится на полу мозаикой, и он стоит там в костюме, который подгоняли три раза, и улыбается так, как улыбается человек, уверенный, что через пять минут его жизнь обретёт форму, которую он для неё выбрал. Орган начинает первые такты марша. Гости оборачиваются к дверям хором голов, аккуратно, как по команде. Двери остаются закрытыми дольше, чем нужно для красивой паузы.

Он помнит, как улыбка держится на лице ещё секунд десять после того, как стало ясно: что-то не так. Помнит, как священник тихо откашливается, как мать наклоняется к отцу и шепчет что-то, как друг, стоящий рядом в качестве шафера, вдруг находит невероятно интересным узел на собственном галстуке.

Пустой проход. Белые лилии вдоль скамей, которые теперь кажутся издевательством. Телефон в кармане вибрирует один раз, потом ещё, и на экране высвечивается сообщение не от неё, а от общего знакомого, из тех, кто всегда узнаёт новости на полчаса раньше всех остальных: «Говорят, Алессандра в аэропорту. С Лайлом. Прости, старик».

Лайл — режиссёр, у которого она снималась в рекламе полгода назад. Ник помнит, как смеялся тогда над шутками Алессандры о его акценте, помнит, как сам предложил пригласить его на мальчишник, потому что «он забавный парень». Не было ни записки, ни звонка, ни одной живой фразы, адресованной ему лично, только слух, долетевший через чужой телефон, пока он стоит перед двумя сотнями гостей в неприлично дорогом костюме.

В тот вечер он не плачет и не кричит. Он садится на край гостиничной кровати в номере, снятом для первой брачной ночи, расстёгивает запонки по одной, кладёт их на тумбочку аккуратно, в ряд, и даёт себе слово, произнесённое не вслух, а где-то внутри, тем же ровным деловым тоном, каким он обычно диктует условия контрактов: больше никогда. Никогда не стоять так, с открытым горлом, подставленным под чужой нож. Можно хотеть людей, можно наслаждаться ими, можно даже по-своему любить, но не так, не до конца, не с этой верой, что кто-то дойдёт до конца прохода просто потому, что обещал.

Он моргает, и церковь растворяется, уступая место кабинету, залитому утренним светом, и собственным рукам, держащим старое письмо. Бумага плотная, дорогая: адвокаты Алессандры всегда экономили на всём, кроме внешнего лоска. Он представляет, с каким лицом она читала этот документ тогда, подписывала не глядя, вероятно, между примеркой платьев для нового фильма.

— Три года, — говорит он вслух, ни к кому не обращаясь, и в голосе слышит ту самую интонацию, которой гордится больше всего: лёгкую, почти весёлую, годную на экспорт в любую компанию.

Он разрывает письмо пополам, потом ещё раз, не глядя, куда падают клочки, и бросает их мимо корзины для бумаг намеренно, с тем небрежным щелчком запястья, которым обычно подкрепляет самые удачные шутки. Пусть кто-нибудь из уборщиков потом удивится, зачем мистер Деверoу рвёт на мелкие кусочки какое-то письмо.

Усмешка, которая трогает уголок рта, знакома ему слишком хорошо, чтобы обмануть даже самого себя: это не весёлость, это щит, который он надевает быстрее, чем успевает почувствовать боль, и пока щит на месте, никто, включая его самого, не должен заметить трещину под ним.

Телефон на столе снова оживает, и он тянется к нему с облегчением, с которым утопающий хватается за протянутую руку.

* * *

— Деверoу, ты ещё жив? — спрашивает профессор Ричард Блейк вместо приветствия. — А то я уже начал готовить некролог для бюллетеня фонда. «Щедрый спонсор скончался от переизбытка собственного обаяния».

— Блейк, — Ник откидывается на спинку кресла, и голос его тут же находит нужную интонацию, лёгкую, почти весёлую. — Если бы я умер, ты бы узнал последним. Все мои деньги уже были бы поделены между адвокатами.

— Узнаю старого циника. — В трубке что-то шуршит, похоже на бумаги, которые Блейк вечно роняет на пол собственного кабинета. — Слушай, у меня к тебе дело. Ты же знаешь о конференции, в «Дрейке»? Надо чтобы ты пришёл.

Ник смотрит на разорванные клочки письма, рассыпанные по полу мимо корзины, и на мгновение забывает, что надо ответить.

— Конференция, — повторяет он без всякого энтузиазма, будто пробует слово на вкус и находит его пресным. — Это та, где восемь профессоров по очереди рассказывают друг другу, какие они нашли горшки, а потом все вместе едят лосося за счёт фонда?

— В этот раз речь о финансировании новых раскопок, между прочим. Твоих раскопок, если быть точным, — Блейк позволяет себе паузу, явно рассчитанную на эффект. — Гватемала, та самая стела, из-за которой ты полгода пил кровь у половины университетских деканов. Если хочешь, чтобы грант подтвердили до отлёта в Каир, тебе стоит показать лицо.

Ник потирает переносицу. В этом вся соль их многолетней дружбы: Блейк умеет завернуть простую просьбу в такую упаковку, что отказаться стыдно даже перед самим собой.

— То есть ты хочешь сказать, что без моего лица грант не утвердят.

— Я хочу сказать, что твоё лицо на сцене рядом со словом «спонсор» стоит для фонда больше, чем три новых статьи в научном журнале. Люди охотнее дают деньги человеку в хорошем костюме, чем абстрактной идее про майя. Такова печальная правда нашего времени, дружище.

— Печальная правда нашего времени в том, что я трачу половину жизни на людей, которые путают керамику с посудой из «Икеи». — говорит Ник, и в его голосе проскальзывает усталость, настоящая, не выставленная напоказ, но Блейк либо не слышит её, либо делает вид, что не слышит.— Ребекка то же весь день настаивает. Ты поговорил, теперь понятно.

— Значит, придёшь, — констатирует тот с довольством человека, который с самого начала знал ответ. — Семь вечера, не опаздывай, и ради всего святого, надень что-нибудь, что не выглядит так, будто ты собрался копать яму прям на сцене, там будут приличные люди, вроде заявленны еще какие-то жутко умные генетики.

Ник усмехается, уже почти искренне: есть что-то успокаивающее в том, как Блейк из года в год относится к нему, будто он всё тот же аспирант, которого нужно было вытаскивать из библиотеки за шиворот и напоминать о существовании еды и дневного света.

— А потом что, фуршет, обмен визитками, обязательный разговор с чьей-то вдовой про наследство в пользу науки?

— Потом домой, если захочешь, — в трубке слышится смешок. — Хотя знаешь, Ник, иногда я думаю, что тебе стоило бы задержаться подольше. Найти что-нибудь, помимо своих черепков и своих контрактов. У тебя из квартиры вид на весь город, а приходишь ты туда каждый вечер один, как сторож в музее после закрытия.

— Я бы попросил не путать мою личную жизнь с состоянием здания, — отвечает Ник ровно, с той же лёгкостью, с какой он только что порвал старое письмо. — У меня всё отлично. У меня есть раскопки, у меня есть фонд, у меня есть ты, который звонит, чтобы испортить мне утро нравоучениями.

— Я звоню, потому что беспокоюсь, — произносит Блейк уже мягче, без подначки, и это неожиданно задевает сильнее, чем любая шутка. — Три года прошло, сынок. Пора бы перестать жить в режиме постоянной экспедиции, даже когда ты в Чикаго.

Ник смотрит в окно, туда, где утренний свет уже начал растворяться в обычной серой дымке большого города, и на секунду ему кажется, что он снова чувствует запах цветов в церкви, того самого дня, который он давно решил не вспоминать вслух ни с кем, включая Блейка.

Конечно, время от времени он встречается с девушками, но они для ночи, не жизни.

— Приду к семи, — говорит он вместо ответа на то, о чём его на самом деле спрашивают. — Но если меня посадят рядом с деканом из Мичигана, я уйду до десерта, предупреждаю заранее.

— Договорились, — в голосе Блейка звучит явное облегчение, как будто для него это была не просто формальность, а маленькая победа. — Увидимся вечером, Деверoу. И постарайся выглядеть так, будто тебе не всё равно.

Он вешает трубку раньше, чем Ник успевает придумать ответную колкость, и в кабинете снова повисает тишина, та самая, привычная, с которой он живёт уже три года, с тех пор как перестал ждать, что кто-то дойдёт до конца прохода. Ник бросает взгляд на часы, потом на разорванные клочки бумаги на полу, и думает, что вечер обещает быть ровно таким же скучным, как десятки других вечеров подобного рода: лосось, вежливые улыбки, разговоры о грантах, после которых хочется выпить что-нибудь покрепче минеральной воды.

* * *

Гардеробная встречает его зеркальной тишиной и в ней не спрячешься ни от света, ни от себя. Ник медленно перебирает вешалки и не может выбрать что надеть, и это раздражает его самого: костюм — не раскопки, тут нечего взвешивать слоями, достаточно взять тёмно-синий и забыть. Но рука почему-то задерживается на сером, потом возвращается к синему, и он думает, что устал сильнее, чем готов признать.

На туалетном столике рядом с запонками лежит раскрытая папка — документы по Гватемале, которые должны были подождать до возвращения из Каира, но Ребекка, как обычно, подсунула их заранее, зная, что он всё равно откроет. Координаты раскопок, предварительная смета, список снаряжения для сезона дождей. Ник листает страницы вполглаза, пока завязывает галстук, и часть его, та, что всегда жила впереди остального тела, уже там, в зелёной духоте джунглей, среди известняковых плит и корней сейбы, где по крайней мере всё понятно: земля либо хранит находку, либо нет, и никто не лжёт тебе в лицо, обещая остаться.

Он поднимает взгляд в зеркало — поправить узел — и видит не себя.

На долю секунды это снова он, тридцатипятилетний, в чёрном костюме, сшитом на заказ ради одного-единственного утра, и вокруг цветы, слишком много белых цветов, запах которых потом преследовал его месяцами в самых неожиданных местах: в цветочном киоске у метро, в чужой машине, однажды даже на рынке в Александрии. Он стоит у алтаря и смотрит на пустой проход, туда, где должна была появиться фигура в длинном платье, и минуты тянутся так, что гости начинают переглядываться, а потом перешёптываться, а потом сообщение, и всё. Дальше на себя всё взяли друзья. Ник был слишком ошарашен, чтобы что-то решать.

Он моргает, и зеркало возвращает ему только галстук, чуть сбившийся набок, и человека, который давно научился не позволять лицу выдавать, что происходит внутри.

Ник поправляет узел резким, почти злым движением.

Три года — достаточный срок, чтобы выучить урок назубок: деньги не уходят среди ночи без объяснений, работа не смотрит сквозь тебя на кого-то более интересного, а контроль над собственным расписанием не разбивает тебе жизнь одним письмом от адвоката. Он отстроил существование заново именно на этом фундаменте, и оно держит ровно так долго, сколько он сам не даёт слабину, не позволяет себе снова поверить, что кто-то способен дойти до конца прохода только ради него.

Телефон на столике вибрирует, спасая его от необходимости додумывать эту мысль до конца.

«Финальное расписание прилагаю, — пишет Ребекка. — Твой столик рядом с Блейком, слева от декана, которого ты обещал пережить до десерта. И, Ник, пожалуйста, хоть на одном фото улыбнись так, чтобы это не выглядело угрозой для фотографа. Фонду это зачтётся».

Он фыркает, набирая ответ одним пальцем: «Передай декану, что я готов рискнуть десертом ради его общества». Отправляет, не дожидаясь, пока придумается что-то более остроумное, и возвращается к запонкам — тяжёлым, серебряным. Подарок от отца, который он носит на все официальные мероприятия с таким постоянством, что уже не помнит, нравятся они ему на самом деле или просто вошли в привычку, как и всё остальное в его жизни.

Папка с документами по Гватемале перекочёвывает в портфель — он возьмёт её с собой, почитает в машине, пока водитель будет пробираться сквозь вечерний Чикаго. Мысль о джунглях успокаивает его куда надёжнее, чем мысль о предстоящем вечере: там хотя бы понятно, зачем вставать утром.

Он бросает последний взгляд в зеркало, уже без всякого ожидания увидеть там что-то кроме обычного отражения: успешный мужчина под сорок, в хорошем костюме, с лицом, которое давно научилось ничего не выдавать за ужином с незнакомыми людьми. Усмехается собственному раздражению из-за простого делового вечера, будто оно единственное имеет значение в целом мире, полном настоящих проблем.

«Лосось, вежливые улыбки, обещанные гранты, — думает он, выключая свет в гардеробной. — К десяти буду дома».

Он выходит за дверь с полной уверенностью, что этот вечер ничем не будет отличаться от десятков таких же, и что к концу недели он уже будет думать только о раскалённом воздухе Каира и о песке, который набивается в ботинки так, что потом неделями вытряхиваешь его из всего на свете.

Он понятия не имеет, что всего через несколько часов его аккуратно выстроенная тишина даст первую трещину.

Глава 2. Формула одиночества

Вода бьётся о сваи где-то под полом — глухой, ровный звук, будто дом дышит во сне. Я просыпаюсь не от будильника, а именно от этого плеска, и несколько секунд лежу неподвижно, слушая, как плавучий домик едва заметно покачивается, отвечая на движение залива. За окном серое сиэтлское утро только начинает сереть чуть светлее, чем ночь, и чайки где-то вдалеке переругиваются из-за рыбы.

Я не открываю глаза сразу. Позволяю себе ещё минуту этого — тишины, которая принадлежит только мне, без чужого дыхания рядом, без необходимости притворяться, что я уже проснулась в хорошем настроении.

Кухня у меня уютная и маленькая и за два года я выучила в ней каждый сантиметр с закрытыми глазами: кофеварка стоит слева от плиты, зёрна — в банке с синей крышкой, вторая чашка так и пылится на дальней полке, потому что доставать её не для кого. Я включаю кофемашину— и с удовольствием, слушаю, как хрустят зёрна, —глядя в окно на то, как по воде расходятся круги от проплывающей мимо лодки.

Никто не спрашивает, почему я пью кофе именно так. Никто не комментирует, что на мне старая футболка Стэнфорда с дыркой на плече, а волосы собраны кое-как, лишь бы не лезли в глаза. Здесь, на воде, я ни перед кем не отчитываюсь за то, как выгляжу с утра.

Дом — моя крепость, и я строила её не из брёвен, а из тишины.

Я не пускаю сюда мужчин. Не потому, что принципиально — просто ещё никто не заслужил ключ от этого места, от моей большой кровати под скошенным потолком на втором этаже, от книжной полки, забитой учебниками по молекулярной биологии вперемешку с любовными романами, которые я прячу под них с лёгким стыдом. Сюда не входят чужие ожидания, чужие планы на мою жизнь, чужие голоса, говорящие, что мне стоит сделать по-другому. Здесь я просто Мэри — та, что варит кофе слишком крепким, та, что иногда разговаривает с чайками вслух, потому что рядом всё равно никого нет, кто мог бы услышать и решить, что это странно.

Кофе готов я беру кружку и сажусь у окна, подтянув колени к груди.

Вода снаружи темнеет и светлеет полосами, где-то вдалеке проходит паром, и его огни ещё горят, хотя рассвет уже почти случился. Я думаю о том, что в этом городе я нашла единственное место, где не нужно ничего доказывать: ни лаборатории, что я достаточно умна, ни коллегам, что достаточно собрана, ни — чего уж там — себе самой, что я не разбита настолько, насколько иногда кажется по ночам.

Телефон на столе загорается коротким вибрирующим сигналом, и я бросаю взгляд на экран раньше, чем успеваю себя остановить.

«Встреча в десять, — пишет Стив. — Принеси последние цифры по контрольной группе. Кажется, у нас получилось то, о чём я боялся даже мечтать».

Я читаю сообщение дважды, и что-то внутри замирает в приятном предчувствии — уже не сонная расслабленность, а знакомое, почти забытое за выходные электричество рабочего утра. «Получилось то, о чём боялся даже мечтать» — Стив не бросается такими словами просто так, он скорее застрелится, чем позволит себе преждевременный оптимизм.

Я ставлю недопитую кружку в раковину, и спокойствие дома за спиной начинает сворачиваться, как сворачивается туман над заливом с первыми лучами солнца. Пора переключаться. Там, за порогом этого дома, ждёт лаборатория, цифры, которые нужно проверить ещё раз, прежде чем поверить им, и Стив с его вечной смесью тревоги и восторга, которая обычно означает, что мы стоим на пороге чего-то настоящего.

Я иду в спальню и достаю из шкафа чистую блузку — строгую, бежевую, в которой чувствую себя собранной даже тогда, когда внутри всё ещё немного звенит от утренней тишины. Волосы собираю в тугой узел, стирая с лица последние следы сна, и в зеркале на меня смот-

рит уже не та женщина, что слушала плеск воды полчаса назад, а доктор Мэри Старк, готовая войти в день с ясной головой и холодным расчётом.

Дом за спиной тихо покачивается на воде, провожая меня так же бесшумно, как встретил — без вопросов, без упрёков, без единого слова о том, что я снова ухожу раньше, чем успеваю толком проснуться для себя самой. Сосед Кевин, машет мне в приветствии, выгуливая свою собаку. Я машу им в ответ и сажусь в свою машину.

* * *

Лаборатория встречает меня тишиной особого рода, той, что бывает только ранним утром, пока не включились центрифуги и не заговорили коллеги. Стив уже на месте, конечно же, он всегда на месте раньше всех, в своём неизменном сером свитере, который, кажется, пережил три президентских срока и так и не был выброшен.

Я раскладываю распечатки на столе перед большим монитором, выравнивая края так, будто от этого зависит точность данных, хотя на самом деле просто тяну время перед тем, как посмотреть то, что смотрела вчера вечером одна, в пустой лаборатории, не веря собственным глазам.

— Вот контрольная группа, — говорю я, подключая флешку. — А вот группа с модифицированным вектором.

На экране разворачиваются две кривые, и даже мне, видевшей их уже десятки раз, становится не по себе от того, насколько они расходятся. Одна ползёт вверх медленно, неуверенно, как и положено обычному иммунному ответу. Вторая взлетает так, что хочется проверить, не перепутала ли я подписи осей.

Стив наклоняется ближе к монитору, снимает очки, протирает их о край свитера — жест, который я видела сотню раз, обычно перед тем, как он произносит что-то важное, — и снова надевает.

— Это за какой период? — его голос звучит ровно, слишком ровно для человека, который только что увидел то, что видит.

— Двенадцать недель. Вирусная нагрузка падает ниже порога определения уже к восьмой.

Он молчит, и в этой тишине я слышу гул холодильников за стеной, далёкий лязг чьей-то центрифуги этажом ниже, собственное дыхание, которое почему-то стало чуть короче обычного. Стив пролистывает графики назад, потом снова вперёд, сверяет цифры в таблице, будто ищет ошибку, которую сам же и хочет найти, потому что так проще, чем поверить.

— Мэри, — говорит он наконец, и в этом единственном слове слышится то, чего я не слышала от него года три, с тех пор как мы получили первый грант под эту тему, — это не предварительные данные. Это результат.

— Я пересчитывала три раза.

— Пересчитай ещё раз. А потом ещё раз. Потому что если это воспроизводимо, мы не просто публикуем статью. Мы меняем протокол лечения для миллионов людей.

Я чувствую, как по позвоночнику пробегает что-то похожее на холод, только наоборот, горячее, и одновременно колени становятся слабыми, будто я несколько часов стояла на одном месте. Гордость поднимается изнутри плотной волной, и я позволяю себе улыбнуться, впервые за это утро по-настоящему, не для коллег, не для зеркала, а просто потому, что хочется.

— Мне страшно в это верить, — признаюсь я тише. — А вдруг мы что-то упускаем. Какой-то побочный эффект, который проявится через полгода.

— Поэтому и нужно показать это людям, которые умнее нас, — Стив складывает руки на груди и смотрит на меня так, как смотрит на провинившихся студентов, только без раздражения, скорее с нежностью старшего коллеги. — Данные должны выйти за пределы этой комнаты, Мэри. На конференцию в Чикаго съедутся лучшие генетики страны. Это шанс, который не повторяется.

— Можно подать как постер. Или попросить кого-то из молодых сотрудников представить доклад.

— Можно, — соглашается он слишком легко, и от этой лёгкости мне становится тревожно. — А можно поехать самой и ответить на вопросы, которые тебе будут задавать те, кто решает судьбу грантов. Знаешь, в чём разница между постером и докладом лично?

— В количестве бессонных ночей перед выступлением, — отвечаю я, пытаясь свести всё к шутке и нелепо сама же смеюсь.

Стив не улыбается в ответ, только качает головой, как делает всегда, когда видит, что я ухожу от разговора привычным манёвром.

— В том, что постер забывают через час. А человека, который стоит перед залом и уверенно говорит о том, что сам же и открыл, запоминают на годы.

Я смотрю на графики на экране, на эту вторую кривую, что взлетает слишком красиво для реального мира, и думаю о том, сколько вечеров я провела здесь одна, доказывая себе, что права. Мне проще остаться среди пробирок, где всё подчиняется формулам и статистической значимости, чем выйти к залу незнакомых людей и позволить им смотреть на меня так, как смотрят на тех, кто рискнул.

— Подумаю, — говорю я, собирая распечатки аккуратной стопкой, хотя внутри уже знаю, что согласие почти созрело, просто ещё не готово прозвучать вслух.

— Подумай быстрее, — отвечает Стив, снова надевая очки и возвращаясь к монитору, уже погружённый в цифры настолько, что следующая фраза звучит почти рассеянно. — Регистрация закрывается через неделю.

* * *

Кафе зажато между двумя корпусами кампуса, и в обеденный час здесь пахнет корицей и мокрыми куртками. Мел уже заняла столик у окна, разложив перед собой салат так, будто это тоже эксперимент с контрольной группой, и поднимает глаза на меня с таким выражением, которое я знаю слишком хорошо: сейчас начнётся допрос.

— Ты опять пахнешь лабораторией, — говорит она вместо приветствия. — Не парфюмом, не кофе из автомата, а именно реагентами. Это уже диагноз, Мэри.

— Это называется преданность профессии, — отвечаю я, садясь напротив и разворачивая обёртку сэндвича с преувеличенной сосредоточенностью.

— Это называется два года без мужчины ближе, чем на расстояние вежливой улыбки, — Мел не ест, она изучает меня поверх вилки, и от этого взгляда хочется спрятаться за меню, которого даже нет на столе. — Я считала. У меня в телефоне список, шутит она: Марк из отдела статистики, тот милый невролог с конференции в прошлом году, даже Джейсон из техподдержки, который чинил тебе принтер три раза подряд явно не из-за принтера. Всем ты улыбалась ровно столько, сколько нужно для вежливости, и ни на миллиметр больше.

— Может, мне просто никто не понравился.

— Может, ты просто решила, что безопаснее никому не нравиться самой, — она произносит это легко, почти шутя, но в глазах у неё нет ни капли шутки, и я понимаю: сегодня не получится отделаться коротким «всё в порядке».

Я кручу в руках пластиковый стаканчик с чаем, наблюдая, как пар поднимается тонкой струйкой и исчезает в холодном воздухе кафе, и молчу так долго, что Мел откладывает вилку.

— Эй, — говорит она мягче. — Я не для того, чтобы доставать. Просто мы дружим четыре года, а ты до сих пор рассказываешь мне о мутациях генома подробнее, чем о себе.

— Потому что про мутации проще. Там всё предсказуемо, если знаешь формулу.

— А про людей?

Я смотрю в окно, где студенты пробегают мимо с рюкзаками под дождём, и вспоминаю, против воли, тот день два года назад: лабораторию, в которой задержалась допоздна, дверь кабинета Дэвида, не до конца прикрытую, смех, который не предназначался для моих ушей

и понимание, что почти все узнали раньше меня, что он спал с лаборанткой уже больше 10 месяцев. Помимо унизительного предательства, я еще узнавала подробности от коллег.

— Мне хватило Дэвида. Ну ты знаешь. Я пока не готова к новым стрессом, надо закончить с исследованиями. — я отворачиваюсь и смотрю в окно. — Хорошо что он уехал. В Бостон, что ли… Хоть забывать начала.

Мел не перебивает, не задает вопросов, только слушает, и это помогает больше, чем любое сочувствие вслух.

— Дело даже не в том, что он изменил, — добавляю я, и это честнее, чем я готовилась признать даже себе. — Дело в том, что я снова поверю кому-то так же сильно. А потом снова ошибусь. Вот чего я боюсь на самом деле. Не предательства. А того, что опять не замечу его, пока не станет слишком поздно.

— Ты не можешь прожить жизнь, проверяя каждого мужчину на детекторе лжи, Мэри.

— Я не проверяю. Я просто не подпускаю.

— Это то же самое, только медленнее, — Мел накрывает мою руку своей, коротко, по-дружески. — Нельзя вечно прятаться за пробирками. Рано или поздно придётся выйти из лаборатории.

Я вспоминаю разговор со Стивом час назад, регистрацию, которая закрывается через неделю, и чувствую, как внутри что-то сжимается от одной мысли оказаться перед залом незнакомых людей без защитного стекла между нами.

— Кстати о выходе из лаборатории, — говорю я, хватаясь за повод сменить тему с облегчением, которое наверняка заметно невооружённым глазом, — у нас сегодня невероятные результаты по второй волне образцов. Стив чуть не перекрестился, увидев кривую.

Мел смотрит на меня ещё секунду, явно понимая манёвр насквозь, потом вздыхает и качает головой.

— Ладно, учёная. Рассказывай про свою кривую. Но я запомню этот разговор.

Я улыбаюсь, уже увереннее, пряча облегчение за звучанием научных терминов, которые всегда были моим самым надёжным укрытием, и начинаю рассказывать про цифры, про то, чего никто ещё не видел, предпочитая говорить о генах, а не о собственном сердце.

* * *

Стив ждёт меня у входа в лабораторию с тем выражением лица, которое я уже научилась расшифровывать за три года совместной работы: приподнятая бровь, сложенные на груди руки, терпение человека, который знает, что рано или поздно добьётся своего.

— Регистрация на конференцию в Чикаго закрывается в пятницу, — говорит он вместо приветствия, едва я переступаю порог. — Я уже отправил заявку на твоё выступление. Осталось только нажать кнопку подтверждения.

— Стив.

— Что «Стив»? Ты видела цифры своими глазами два часа назад.

— Я видела цифры. Я не видела себя на сцене перед залом из трёхсот человек.

Он идёт за мной к моему столу, и я чувствую спиной его взгляд, пока раскладываю папки, которые на самом деле раскладывать не нужно, просто руки хотят занять себя чем-то, кроме этого разговора.

— Можно отправить постер. Пусть кто-то другой стоит у доски и отвечает на вопросы, — я повторяю то что уже предлагала. Понимая что Стив видит — я хватаюсь за соломинку.

— Постер, Мэри. У тебя терапия, которая потенциально меняет протокол лечения ВИЧ, а ты хочешь повесить её на доску рядом с графиками про метаболизм дрозофил.

— Это не унижает результат.

— Это его прячет, — Стив садится на край стола, что он делает крайне редко, только когда разговор для него по-настоящему важен. — Ты сама говорила мне в прошлом году: наука

без голоса — это данные, которые никто не прочитает. Ты написала это мне в письме после защиты гранта, я помню дословно.

Я молчу, потому что он прав, и это раздражает больше, чем если бы он ошибался.

— Я не публичный человек, — произношу я наконец, и это звучит слабее, чем хотелось бы. — Мне комфортнее здесь. С пробирками, с протоколами, с вещами, которые ведут себя предсказуемо.

— Люди тоже не так уж непредсказуемы, если дать им шанс, — Стив смотрит на меня внимательнее, чем я готова выдержать, и я понимаю, что он думает не только о конференции. — Ты второй месяц прячешь эти результаты так, будто боишься, что их украдут из-под носа, если покажешь кому-то, кроме меня и Мел.

— Я осторожна. Это разные вещи.

— Это одно и то же, только у осторожности есть научное название, а у страха — нет.

Он произносит это без упрёка, скорее с той мягкостью, с которой говорят люди, проработавшие рядом достаточно долго, чтобы видеть сквозь чужую броню, и мне нечем на это ответить, кроме молчания.

За окном лаборатории идёт дождь, мелкий, сиэтлский, под который хорошо сидеть внутри и делать вид, что весь мир умещается в границах этого здания. Но где то внутри меня, шевелится то упрямое, цепкое чувство, которое всегда появляется, когда я уверена в собственной работе: смесь гордости и азарта, которую невозможно до конца заглушить ни страхом, ни привычкой прятаться.

— Если ты не поедешь, этим результатом займётся кто-то другой, — добавляет Стив тише, почти без нажима, зная, что это сработает лучше любого давления. — Кто-то, кто прочитает твои данные с трибуны и получит грант, пока ты будешь сидеть здесь с постером.

Это бьёт туда, куда он целился, и мы оба это знаем.

— Хорошо, — говорю я, и слово выходит тяжелее, чем я ожидала от самой себя. — Я поеду. Но исключительно ради презентации данных. Не ради того, чтобы кому-то что-то доказывать.

— Разумеется, — Стив прячет улыбку неубедительно, вставая со стола. — Исключительно ради науки.

— Именно.

— Я уже купил тебе билет в Чикаго на следующую пятницу и забронировал отель, — бросает он, направляясь к двери, и я едва успеваю швырнуть ему вслед папку с протоколами, которую он ловко избегает, посмеиваясь.

Когда дверь за ним закрывается, я остаюсь одна среди пробирок и центрифуг, повторяя себе, что еду туда ради гранта, признания, науки, которой отдала последние пять лет жизни. Я сильная. Я справлюсь.

* * *

Чемодан лежит на кровати раскрытый, как спящее животное, которому вот-вот прикажут проснуться, и я раскладываю в нём вещи по списку, который составила ещё утром: три блузки, одна строгая, две на случай, если первая помнётся; строгий костюм,ноутбук с презентацией, которую проверяла уже семь раз; зарядка; папка с распечатанными графиками на случай, если проектор откажет, потому что проекторы всегда отказывают именно тогда, когда нельзя. За окном вода тихо бьётся о сваи, дом чуть покачивается, как всегда по вечерам, когда ветер с залива набирает силу, и этот ритм успокаивает меня больше, чем должен бы успокаивать человека, которому завтра лететь через всю страну.

Я складываю вещи, проверяю список, вычёркиваю пункт за пунктом, и где-то между зарядным устройством и упаковкой тампонов меня накрывает странное, совершенно нелогичное чувство: будто эта поездка окажется не просто докладом перед комиссией, не просто строчкой в резюме и шансом на грант. Будто там, в Чикаго, меня ждёт что-то, чему я пока не могу

дать имени, что-то, что изменит привычный порядок вещей так же необратимо, как генная терапия меняет клетку изнутри.

Мысль настолько неуместная, что я сама усмехаюсь вслух, коротко, невесело.

— У тебя едет крыша, Мэри, — говорю я пустой комнате, и голос звучит глухо среди стен, обшитых деревом. — Это конференция. Доклад. Проектор, микрофон, вопросы из зала. Больше ничего.

Но чувство не уходит, оно сидит где-то в области сердца, тёплое и упрямое, и я заставляю себя задавить его методично, как привыкла задавливать всё, что не поддаётся расчёту. Я напоминаю себе про Дэвида: как он смотрел на меня через стол, когда признавался, что встречается с лаборанткой уже около года, и в его голосе не было даже стыда, только усталая досада человека, которого наконец поймали. Я напоминаю себе, что надежда стоит дорого, что за неё платят валютой, которой у меня больше нет в избытке, и что цена всегда оказывается выше, чем кажется в момент, когда решаешься поверить снова.

Рука замирает над косметичкой, и на секунду меня будто окатывает тем самым вечером два года назад: холод кафельного пола в ванной, где я сидела, обхватив колени, и телефон с открытой перепиской, которую не должна была видеть. Страх тогда был не в самом предательстве, он пришёл позже, расползся медленно, как трещина по стеклу: страх, что я снова поверю кому-то так же полно, снова открою дверь настежь, и снова останусь стоять среди обломков, удивляясь, как вообще могла быть такой слепой.

Любопытство к неизвестному, то самое тёплое чувство, что шевельнулось минуту назад, пригибается под тяжестью этого воспоминания и затихает, как пригибается трава под дождём, который вот-вот пройдёт.

— Это просто выход из зоны комфорта, — говорю я себе вслух, уже тише, застёгивая косметичку. — Доклад, грант, самолёт обратно. Всё чётко, по графику.

Я ещё раз проверяю список, уже скорее по привычке, чем по необходимости: паспорт, посадочный талон, распечатка презентации, визитки лаборатории на случай, если кто-то спросит про финансирование. Всё на месте, всё разложено так, как должно быть разложено в жизни, которой я управляю сама, без чужого вмешательства, без чужих рук, которые однажды протягиваются с нежностью, а потом исчезают, оставляя после себя пустоту размером с целую квартиру.

За окном где-то в темноте залива перекликаются сигнальные огни лодок, редкий плеск воды, мягкий скрип свай под домом, и этот звук, знакомый до последней ноты, возвращает меня в тело, в комнату, в настоящий момент, где нет ничего, кроме чемодана и завтрашнего рейса.

Я закрываю крышку чемодана и застёгиваю замки по очереди, с нажимом, будто этим жестом можно захлопнуть не только отделение для вещей, но и ту странную, непрошеную надежду, что успела прорасти во мне за последние полчаса. Щелчок, второй щелчок, тишина.

— Ради науки, — повторяю я вслух, уже сама себе не очень веря, и выключаю свет в спальне, оставляя чемодан стоять у двери, готовый к утру, которое, что бы я себе ни говорила, пугает меня чуть больше, чем хотелось бы признать.

Глава 3. Встреча на фуршете

Зеркало в дамской комнате отеля «Дрейк» обрамлено бронзой, потемневшей от времени, и свет в нём ложится мягко, без той безжалостной прямоты, к которой я привыкла в лаборатории. Я поправляю блузку у ворота, разглаживаю невидимую складку на лацкане пиджака, и руки у меня почти не дрожат. Почти.

Полчаса назад голос у меня сорвался на третьем слайде. Я помню этот момент так ясно, будто он всё ещё происходит: белый экран позади, курсор мигает на графике экспрессии генов, а я слышу собственный голос со стороны, тонкий, чужой, будто кто-то украл его у меня и теперь пытается говорить от моего имени. Но данные есть данные. К пятому слайду, когда на экране появилась кривая вирусной нагрузки, падающая к нулю у всех двенадцати пациентов контрольной группы, в зале стало тихо той особенной тишиной, которая случается, когда люди перестают слушать из вежливости и начинают слушать по-настоящему. Я заговорила увереннее. Я всегда знала: цифры не умеют лгать, и если дать им достаточно пространства, они говорят громче любого голоса, даже самого дрожащего.

Я смотрю на себя в зеркало и выдыхаю. Зелёные глаза, слегка уставшие от перелёта и волнения, но живые. Темно русые локоны, которые я укладывала утром феном в номере, уже начинают виться по своей собственной воле, спускаясь волнами по плечам и ниже, на спину, как будто у них свой характер, не подчиняющийся расписанию конференций. Брюки сидят ровно, пиджак — тёмно-синий, строгий, тот самый, который Мел называет «доспехами». Шпильки добавляют три сантиметра роста и ещё больше уверенности, хотя ноги в них к вечеру будут гудеть. Макияж лёгкий, почти незаметный: немного туши, блеск на губах, ничего лишнего. Я опять вспоминаю, что мне проще разговаривать с пробирками, чем с людьми, с цифрами, чем с лицами, и сегодняшний доклад — лучшее тому доказательство. Там, за стеклом секвенатора, всё честно: вставил образец, получил результат. Здесь, в зале, полном незнакомых учёных и спонсоров, честность работает иначе, и я никогда толком не умела в ней ориентироваться.

Но Стив прав. Когда сказал тогда в лаборатории, посмотрев на меня тем своим взглядом, в котором смешаны отеческая забота и упрямая настойчивость: «Мэри, грант не свалится тебе на стол сам по себе. Нужно, чтобы люди видели твоё лицо, а не только твои графики». Он прав, и от этого не легче.

Я подмигиваю своему отражению, чуть склонив голову набок.

— Ты справилась, детка, — говорю я тихо, одними губами, почти не разжимая их, чтобы никто, случайно зашедший в комнату, не подумал, что я разговариваю сама с собой вслух, как сумасшедшая. — Ты лучшая. Грант будет наш.

Весь перелёт я слушала одну и ту же запись аффирмаций, которую скачала себе на телефон в приступе отчаяния два дня назад, и теперь эти фразы крутятся у меня в голове сами собой, без моего участия, въевшись глубже, чем мне бы хотелось признавать. «Я заслуживаю успеха. Моя работа важна. Я не боюсь быть увиденной». Звучит немного нелепо, когда произносишь это вслух, но где-то глубоко внутри, под слоем иронии, которым я привычно укрываюсь, это работает. Или я убеждаю себя, что работает, что, возможно, то же самое.

Я достаю из сумочки помаду, обновляю блеск на губах коротким движением, убираю тюбик обратно. За дверью доносится приглушённый гул фуршета: звон бокалов, смех, обрывки разговоров о финансировании, о клинических испытаниях, о чьей-то статье в последнем номере журнала. Люди, которые будут решать, получит ли моя лаборатория деньги на следующий этап исследований, уже там, с бокалами шампанского в руках, и моя задача сейчас — выйти к ним, улыбнуться, пожать несколько рук, обменяться визитками, может быть, рассмеяться над чьей-то шуткой, даже если она не особенно смешная.

Полчаса, решаю я, глядя на часы на телефоне. Ровно полчаса вежливости и контактов, а потом я уйду в номер, закажу себе что-нибудь, полистаю научный журнал и лягу спать пораньше, потому что завтра обратный рейс, и потому что я устала изображать общительность, которой во мне от природы куда меньше, чем мне хотелось бы.

Я расправляю плечи, в последний раз проверяю отражение — безупречна, собранна, именно такой меня хочет видеть Стив, именно такой я хочу казаться сама себе — и толкаю тяжёлую дверь дамской комнаты.

Зал ударяет в меня светом хрустальных люстр и гулом голосов, смешанных в один плотный звук, из которого невозможно выделить ни одной отдельной фразы. Официанты скользят между группами гостей с подносами, полными бокалов шампанского и крошечных закусок на шпажках, и где-то в глубине зала звенит чей-то смех, слишком громкий для вежливого приёма. Я беру бокал с первого же подноса, который оказывается рядом, делаю маленький глоток для храбрости и ступаю в этот гул, напоминая себе: тридцать минут. Всего тридцать минут, и я могу спрятаться обратно в свою раковину.

* * *

Шампанское оказывается тёплым и слишком сладким, но я допиваю его почти залпом, потому что держать бокал в руках — единственный способ не выглядеть так, будто ищу, куда бы спрятаться. Вокруг меня громким гулом перекатываются разговоры: кто-то вслух прикидывает сумму следующего транша, кто-то спорит о сроках третьей фазы испытаний, женщина в изумрудном платье рядом со мной уверяет собеседника, что без увеличения выборки данные не примет ни один рецензируемый журнал. Я киваю этим обрывкам, будто участвую в беседе, хотя на самом деле просто пытаюсь занять лицо выражением, которое не выдаёт, насколько мне хочется оказаться в номере, под одеялом, подальше от этого гула.

Официант забирает мой пустой бокал и тут же вручает полный, и я уже собираюсь отойти ближе к окну, где воздух кажется чище, как замечаю его.

Он стоит у мраморной колонны чуть в стороне от основной толпы, один, с бокалом чего-то темного в руке, и смотрит на зал так, будто пришёл сюда по ошибке и до сих пор не понял, стоит ли оставаться. Высокий, на голову выше большинства мужчин вокруг, в костюме, который сидит на нём слишком хорошо для случайной покупки, но при этом в его позе нет ни капли той скованности, которая обычно выдаёт людей науки, привыкших сутулиться над микроскопами и жаться по углам конференц-залов. Тёмные, но как будто выгоревшие волосы чуть длиннее, чем принято носить на подобных мероприятиях, небрежно зачёсаны назад, будто он провёл рукой по ним минуту назад и забыл о причёске. На подбородке — то, что явно не бреют уже третий день, не случайная небритость, а что-то намеренное, почти вызывающее посреди моря гладко выбритых щёк и консервативных галстуков.

Он похож на ковбоя, которого случайно нарядили в костюм за несколько тысяч долларов и отправили на светский приём, а он взял и выдержал это испытание с кривой усмешкой на губах, будто вся эта сцена кажется ему немного смешной.

Наши взгляды сталкиваются раньше, чем я успеваю отвести глаза, и я жду, что он, как положено воспитанному человеку, сделает вид, будто смотрел куда-то мимо меня, на картину за моей спиной или на часы на стене. Но он не отводит взгляд. Вместо этого уголок его рта ползёт вверх, он поднимает свой бокал, коротко салютует мне им, а потом показывает большой палец, будто оценивает что-то во мне, как судья на соревнованиях. Надеюсь ему понравился мой доклад, а не моя задница.

Я чувствую, как губы сами собой складываются в вежливую улыбку, короткую, профессиональную, ту самую, которой я одариваю спонсоров на фотографиях для годового отчёта, и тут же отворачиваюсь к окну, хотя там, честно говоря, нечего особенно разглядывать, кроме огней Мичиган-авеню внизу.

Сердце почему-то бьётся быстрее, чем должно биться от одного только обмена взглядами с незнакомцем через весь зал, и это меня раздражает едва ли не больше, чем сам факт, что он на меня смотрел. Я уговариваю себя, что дело в шампанском на голодный желудок, в усталости после перелёта, в адреналине, который ещё не вышел после доклада, в чём угодно, только не в том, что мужчина с трёхдневной щетиной и повадками человека, которому плевать на мнение окружающих, за пять секунд сделал то, что не удавалось никому за последние два года. Заставил сердце биться чаще.

Прекрати, говорю я себе. Ты приехала сюда ради гранта, а не ради того, чтобы краснеть от взглядов случайных ковбоев в смокингах.

Я поворачиваюсь спиной к залу и делаю вид, что меня до крайности интересует фуршетный стол: аккуратные ряды канапе с лососем, башня из профитролей, которую никто, кажется, не решается тронуть из опасения разрушить архитектурное сооружение. Я беру тарталетку, которую не собираюсь есть, просто чтобы занять руки, и рассматриваю её с преувеличенным вниманием, будто от состава начинки зависит судьба моего гранта.

Но даже стоя спиной, даже разглядывая несчастную тарталетку с таким усердием, будто пишу по ней рецензию, я ощущаю этот взгляд. Он не переместился на кого-то другого, не отвлёкся на разговор с коллегой, не ушёл к бару. Он всё ещё там, за моей спиной, тёплый и тяжёлый одновременно, и кожа между лопаток покалывает так, будто кто-то провёл по ней пальцем.

Я кладу тарталетку обратно на поднос, так и не откусив ни кусочка, и говорю себе, что через минуту отойду к группе у камина, туда, где стоит человек Стива, вместе с представителями фонда, туда, где разговор будет исключительно о цифрах и клинических протоколах, и где никто не будет смотреть на меня так, будто уже решил, чем закончится этот вечер.

Я делаю шаг в сторону камина. И почти уверена, что он идёт следом.

* * *

Я почти добираюсь до камина, когда голос раздаётся прямо над ухом, слишком близко для случайного соседства в толпе.

— Признаюсь честно, доктор: из вашего доклада я понял слова три. «ДНК», «пациент» и, кажется, «статистически значимо».

Я оборачиваюсь. Он стоит так близко, что приходится чуть запрокинуть голову, чтобы увидеть его лицо целиком, и от этого простого движения внутри что-то предательски сжимается.

— Остальное, полагаю, прошло мимо вас в виде белого шума, — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, вежливо, как с любым другим спонсором в этом зале.

— Белый шум с очень красивыми слайдами, — он слегка наклоняет голову, будто оценивает меня заново, уже не через весь зал, а вблизи. — Ник. Раз уж мы оба притворяемся, что случайно оказались у одного стола.

— Мэри, — отвечаю я и тут же жалею, что руки не заняты бокалом, иначе было бы куда деть неловкость рукопожатия.

— Так вот, Мэри. Объясните мне, тёмному человеку: вы там двенадцать минут говорили про цепочки, векторы и терапию, а я всё ждал, когда же появится хоть один скелет для наглядности.

— Скелетов не будет, — я позволяю себе едва заметную улыбку, — у меня работа с живыми. С молекулами, которые ещё дышат, образно говоря.

— Жаль. Я как раз специалист по тем, кто уже не дышит лет восемьсот.

Я моргаю, не сразу понимая, шутка это или нет.

— Простите?

— Археолог, — он произносит это с какой-то ленивой гордостью, будто сообщает не профессию, а диагноз. — Копаю там, где кости, керамика и надписи на камнях важнее любого УЗИ. Сейчас финансирую и веду экспедицию в Гватемале, ищем захоронения майя.

— Значит, мы оба имеем дело с прошлым, — вырывается у меня прежде, чем успеваю обдумать фразу, — просто вы ищете его в земле, а я — в клетках.

— О, вот это уже слайд, который я бы понял, — он усмехается, и в этой усмешке нет снисходительности, только настоящий интерес, тот самый, что я искала весь вечер в глазах скучающих спонсоров и не находила. — Продолжайте. Что там, в ваших клетках, от прошлого?

— Всё, — говорю я, и неожиданно для себя самой чувствую, как расправляются плечи, как слетает усталость последних часов. — ДНК — это летопись. Каждая мутация, каждая поломка — страница истории конкретного человека и всего вида заодно. Я читаю эти страницы, чтобы понять, что пошло не так, и попытаться это исправить.

— А я читаю черепки и зубы, чтобы понять, как жили люди, которые об этом никогда не узнают, — он слегка пожимает плечами, но я вижу: ему действительно важно, что он говорит. — Разница в том, что мои пациенты уже тысячи лет как не нуждаются в лечении.

— Зато нуждаются в уважении, — замечаю я. — Нельзя же просто раскопать чью-то могилу и выставить на витрину.

— Поверьте, доктор, у меня к мёртвым майя куда больше почтения, чем у половины этого зала к живым коллегам.

Он кивает в сторону группы у бара, где кто-то слишком громко смеётся собственной шутке, и я, не удержавшись, фыркаю — коротко, неприлично для научной конференции, но совершенно искренне. Первый раз за весь вечер я улыбаюсь не потому, что так положено, а потому что действительно смешно.

— Так, значит, кости и черепки, — повторяю я, пробуя слова на вкус, — ваш эквивалент моих цепочек ДНК.

— Только у меня нет статистически значимых результатов, — он картинно вздыхает. — У меня есть интуиция, лопата и упрямство.

— Звучит менее надёжно.

— Зато куда интереснее.

Я снова улыбаюсь, и в этот раз уже без всякой борьбы с собой, просто потому что мышцы лица делают это сами, без разрешения. И где-то на периферии сознания мелькает мысль, что его сарказм должен бы меня раздражать, должен бы включать все те защитные механизмы, которые я так старательно выстраивала последние два года. Должен — но почему-то делает совершенно обратное: с каждой его колкой фразой мне хочется не отойти, а остаться ещё на минуту, ещё на одну реплику, ещё немного послушать, как он говорит о мёртвых с такой живой, почти мальчишеской увлечённостью.

Это пугает еще больше, чем его взгляд через весь зал десять минут назад.

* * *

— Вы ведь не из тех, кто рвётся к микрофону, — говорит он, разглядывая меня так внимательно, будто пытается снять отпечатки пальцев. — Я видел, как у вас дрожали руки на третьем слайде. Зачем тогда лететь через всю страну ради получаса под софитами, доктор?

Вопрос застаёт меня врасплох, потому что обычно его задают иначе: «Волнуетесь?» или «Как вам Чикаго?» — вежливо, по касательной. А он спрашивает так, будто ему правда важен ответ, и я чувствую, как привычная формула «ради гранта и видимости лаборатории» рассыпается во рту ещё до того, как я успеваю её произнести.

— Потому что мы сделали то, чего ждали много лет, — говорю вместо этого, и голос звучит твёрже, чем я ожидала. — Нашли способ переписать повреждённый участок генома у вируса, с которым до сих пор боролись вслепую. Контрольная группа — двенадцать недель,

никаких следов репликации. Понимаете, что это значит? Это не просто ещё одна таблетка. Это шанс закрыть главу, которая убивала людей десятилетиями.

Я замолкаю, ожидая обычной реакции — вежливого кивка, может быть, растерянного «ух ты, круто» — но Ник смотрит на меня так, что я забываю, зачем вообще начала объяснять. В его глазах нет скуки спонсора, который считает минуты до фуршета с крабовыми тарталетками. Там что-то живое, почти жадное.

— Вы сейчас сказали это тем же тоном, каким я говорю про гробницу, которую ищу три года, — произносит он медленнее, чем раньше. — Только у вас на кону не черепки, а живые люди.

— У вас тоже когда-то были живые люди, — отвечаю я мягче, чем планировала. — Просто это случилось раньше, чем вы родились.

Он молчит секунду, и мне кажется, я впервые вижу, как с его лица сходит ирония, будто кто-то снял с витрины табличку «осторожно, сарказм» и на миг показал то, что под ней. Почему то хочется думать, что это из-за меня.

Он делает шаг — не навстречу, но чуть ближе, чем диктует вежливая дистанция научного фуршета, и облокачивается на барную стойку рядом со мной. Наши руки не касаются, но между ними теперь сантиметр, не больше, и я чувствую тепло его кожи так отчётливо, будто кто-то поднёс ладонь к огню. От него пахнет чем-то дорогим и простым одновременно — сандал, немного виски, лёгкая горечь табака.

— Знаете, — говорит он, понижая голос так, что мне приходится податься чуть ближе, чтобы расслышать сквозь гул зала, — я встречал людей, которые гоняются за открытиями ради денег, ради статей, ради имени на обложке. Вы не из них.

— А вы откуда знаете?

— У вас руки дрожали не от страха перед залом, доктор Мэри. У вас дрожали руки, потому что вам есть, что терять, если это сработает не так, как вы рассказываете.

Это звучит слишком точно, слишком близко к правде, и на секунду я теряю дар речи, стою и смотрю на него, а он смотрит на меня, и повисает пауза — не та вежливая, в которую можно вставить шутку про погоду, а другая, тяжелее, длиннее на один удар сердца, чем положено двум малознакомым людям на конференции. Шум зала куда-то отступает, будто кто-то приглушил звук в фильме перед важной сценой, и я слышу только, как бьётся пульс у меня в горле.

Надо сказать что-то лёгкое. Немедленно.

— Ну, — я нарушаю молчание первой, стараясь, чтобы голос звучал ровно, почти игриво, — раз уж мы выяснили, что у меня дрожат руки, а у вас — лопата и упрямство, может, объединим усилия. Ваши кости расскажут мне, как жили люди, а моя ДНК — почему они умирали. Идеальное научное партнёрство.

Он улыбается, медленно, по-настоящему, и от этой улыбки у меня внутри что-то обрывается вниз, как лифт, потерявший трос.

— Партнёрство, — повторяет он, будто пробуя слово на вкус, точно так же, как я недавно пробовала его про кости и черепки. — Мне нравится это слово куда больше, чем «доклад» и «грант».

Я улыбаюсь в ответ, но за этой улыбкой, под аккуратным лицом, которое я столько лет училась держать невозмутимым перед комиссиями и рецензентами, бьётся совершенно непрофессиональная паника: ещё немного, ещё одна его фраза, ещё один сантиметр ближе — и я не отвечаю за то, что сделаю или скажу дальше. Итак уже наговорила лишнего. Партнерство! Ха. Молодец, Мэри. Проваливайся сквозь землю от стыда.

* * *

— Ужин, — говорит он, и это звучит не вопросом, скорее констатацией чего-то уже решённого между нами, хотя решала точно не я. — Где-нибудь подальше от этого зала, где никто не спросит вас про механизм доставки вектора в клетку.

Голос у него низкий, с той ленцой, за которой прячется расчёт, и я почти слышу, как под словами «ужин» звенит другое, незаданное: «останьтесь ещё немного, доктор Мэри, вам ведь тоже не хочется уходить».

Я улыбаюсь, потому что так положено, и в этот момент что-то внутри меня переворачивается слишком резко, как будто лифт, о котором я думала минуту назад, вдруг дёрнулся и пошёл вниз без остановок. Это узнавание бьёт под дых: я помню это ощущение. Помню, как два года назад точно так же стояла слишком близко к человеку, который потом год жил двойной жизнью за моей спиной, и как тогда тоже казалось, что между нами проскакивает что-то настоящее, редкое, что бывает раз в жизни. Оказалось, бывает каждый вторник с лаборанткой по имени Джен.

Мне нельзя. Я не для того летела через всю страну с папкой слайдов и заготовленными фразами про t-клетки, чтобы за один вечер забыть, чему меня научили.

— Боюсь, не выйдет, — говорю я, и голос звучит ровнее, чем всё внутри. — У меня завтра рейс рано утром, а после доклада я, если честно, держусь на одном кофеине и упрямстве.

Это даже не совсем ложь. Рейс действительно в восемь пятнадцать. Просто я не говорю ему, что готова пересесть на любой другой, лишь бы он ещё раз произнёс моё имя тем тоном, каким произносил его последние десять минут, будто пробуя на вкус что-то незнакомое и неожиданно приятное.

— Конференции утомляют сильнее, чем кажется со стороны, — добавляю я, зачем-то оправдываясь перед человеком, которому не должна ничего объяснять, и от этого раздражаюсь на саму себя ещё больше.

Он смотрит на меня пристально, изучая. Как бы говоря: «понимаю, конечно», и в этом взгляде нет ни капли удивления, будто он ждал именно такого ответа, будто заранее знал, что я скажу про рейс и кофеин, а не про то, что на самом деле боюсь остаться с ним наедине дольше, чем позволяет барная стойка и шум фуршета.

Я тянусь за сумочкой, которая лежит на стойке рядом с его локтем, и неуклюже хватаю ее, ремешок цепляется за край бокала, и тот предательски звякает, почти опрокидывается, я ловлю его ладонью в последний момент и чувствую, как щёки заливает совершенно ненужным сейчас румянцем. Элегантность, Мэри. Просто образец элегантности.

— Осторожно, — говорит он, и в голосе ни капли насмешки, только лёгкое, почти нежное предупреждение, от которого мне становится ещё хуже, потому что я хочу злиться на него за эту внимательность, а не хочу отметить, какая у него, оказывается, мягкая интонация, когда он не иронизирует.

— Спасибо, — отвечаю я суше, чем могла бы, и закидываю сумочку на плечо, будто это щит.

Я не смотрю ему в глаза, хотя чувствую, что он не отводит взгляда, чувствую это кожей, затылком, каким-то десятым чувством, которое у меня обычно включается только в лаборатории, когда что-то идёт не по протоколу. Сейчас оно орёт на меня в полную силу: Мэри, ты теряешь контроль над переменной.

— Было очень… — я подбираю слово, и единственное, что приходит в голову, это слишком честное «приятно», поэтому я заменяю его более безопасным, — познавательно. Удачи с захоронениями майя.

Звучит так нелепо официально, что я сама морщусь внутри, но отступать поздно, и я уже делаю шаг назад, ещё один, создавая между нами расстояние, которое час назад казалось естественным, а теперь ощущается как побег.

Он не удерживает меня. Не хватает за руку, не произносит никакого «подождите», которого, кажется, я почему-то жду и одновременно боюсь. Он просто стоит, опираясь локтем о стойку, свободный, расслабленный, как человек, у которого в запасе вся вечность, и на губах у него расцветает та самая полуулыбка, с которой он салютовал мне бокалом через весь зал час назад, только теперь в ней появилось что-то новое, понимающее, будто он читает меня, как собственную карту раскопок, и уже нашёл место, где закопано самое интересное.

— Доброй ночи, доктор Мэри, — говорит он тихо, почти ласково, и от того, как он произносит моё имя с этим смешным «доктор» впереди, у меня снова обрывается что-то внутри.

Я киваю, слишком коротко, слишком быстро, и ухожу через зал, чувствуя спиной его взгляд всю дорогу до самых дверей, и мне стоит каждой клеткой самообладания не обернуться.

* * *

Я почти у самых дверей, когда позади раздаются быстрые шаги, слишком уверенные для случайного прохожего, и голос, который я уже успела узнать за один короткий разговор у стойки.

— Хотя, доктор Мэри. Минуту.

Оборачиваюсь, хотя всё внутри подсказывает: не надо, иди дальше, в номер, под одеяло, подальше от мужчин с такой улыбкой. Ник держит в руке салфетку, самую обычную, с эмблемой отеля «Дрейк» в углу, и на ней что-то нацарапано ручкой, буквы пляшут вкривь и вкось, будто он писал на ходу, опираясь локтем на барную стойку.

— Вот, — говорит он и протягивает салфетку мне, как будто это официальный документ. — Записал вопрос, пока не забыл. Про вашу терапию. Там что-то про интеграцию вектора в геном, я правильно это слово произношу?

Я беру салфетку из вежливости, скорее чем из интереса, и пытаюсь разобрать почерк. «Вектор + Т-клетки =?» — вот и всё, что там написано, остальное похоже на попытку нарисовать двойную спираль человеком, который в последний раз держал в руках биологию классе в девятом.

— Правильно, — отвечаю я, и уголок губ сам собой ползёт вверх, хотя я запрещаю себе улыбаться. — Хотя обычно это не записывают на салфетках, на фуршете.

— У меня нет блокнота. Только эта штука, — он кивает на салфетку, — и ещё карман, набитый визитками, которые я не собираюсь никому отдавать.

— Зачем вам вообще это знать? — спрашиваю я, уже понимая ответ наперёд, но мне нужно услышать, как он его произнесёт, нужно дать ему шанс сказать правду или соврать красиво, и то и другое меня почему-то устраивает.

— Фонд, который я веду, иногда финансирует не только черепки и раскопки, но и науку в целом, — говорит он совершенно серьёзным тоном, хотя в глазах у него пляшет что-то, очень похожее на то самое лукавство, с которым он час назад салютовал мне бокалом через весь зал. — Разумная диверсификация. Нельзя же вкладывать всё в мёртвых майя, нужно немного в живых людей.

— Разумно, — соглашаюсь я, и голос звучит ровнее, чем я ожидала, хотя сердце колотится так, что я удивляюсь, почему он его не слышит.

Я понимаю, что это предлог. Понимаю так же ясно, как понимаю структуру ДНК под микроскопом: слишком тонкий, слишком вовремя написанный от руки вопрос про вектор, слишком внимательный взгляд поверх салфетки. Но у меня не находится ни единого слова, чтобы сказать «нет», хотя весь мой профессиональный, собранный, уверенный фасад кричит об этом изнутри.

— У вас есть номер, по которому можно позвонить с вопросами? — спрашивает он, уже вынимая телефон из кармана пиджака, экран вспыхивает в полумраке коридора.

— Да, — говорю я, и голос предательски дрожит на этом коротеньком слове, будто я призналась в чём-то куда более серьёзном, чем простая последовательность цифр.

Он протягивает мне телефон, не прося продиктовать номер вслух, просто держит экран передо мной, приглашая вбить цифры самой. Я тянусь к телефону, и на долю секунды наши пальцы соприкасаются, тепло его кожи и холодный металл корпуса, и этого касания хватает, чтобы меня будто дёрнуло током, о котором пишут в любовных романах и над которым я всегда смеялась.

Я быстро, слишком быстро, набираю цифры, почти не глядя на экран, возвращаю телефон, бормочу что-то вроде «звоните, если будут вопросы по науке» и уже разворачиваюсь к дверям, пока окончательно не выдала себя.

— Доброй ночи, доктор Мэри, — говорит он мне в спину, и в голосе снова та самая мягкость, от которой у меня каждый раз что-то обрывается внутри.

Я не оборачиваюсь. Иду через холл к лифтам быстрым шагом, почти бегу, стук каблуков по мрамору звучит слишком громко в пустом коридоре, и всю дорогу я чувствую его взгляд между лопаток, будто он стоит там до сих пор, у дверей зала, опираясь плечом о косяк, и смотрит мне вслед с понимающей усмешкой.

В лифте я прислоняюсь затылком к зеркальной стене и закрываю глаза. Это ничего не значит, говорю я себе. Это вежливость спонсора, интерес к гранту, профессиональный вопрос про вектор и Т-клетки, записанный на салфетке от нечего делать. Завтра я улетаю в Сиэтл, он улетает в свои джунгли искать мёртвых царей майя, и этот номер так и останется строчкой в его телефонной книге, среди десятков других контактов, о которых он забудет через неделю.

Он не позвонит, говорю я себе, и двери лифта открываются на моём этаже с тихим звоном.

Он не позвонит.

И где-то под рёбрами, вопреки всей логике, вопреки каждому доводу холодного рассудка, тревожно и глупо надеюсь, что я ошибаюсь.

Глава 4. Та же комната, другой взгляд

Прекрасный генетик с глазами цвета зеленого мха, по имени Мэри, вбивает свой номер в мой телефон выходит из зала, а я еще минуту стою и смотрю на дверь, за которой она скрылась.

Ричард Блейк удивлённо поднимает бровь, видимо он увидел мое внимание к этой темноволосой професорше с зелёными как мох глазами. Я подхожу к Ричарду и делаю вид что мне интересно что говорит мужчина слева от него, кажется, вице-президент какой-то страховой компании, он уже третий раз произносит слово «синергия» с интонацией человека, открывшего нечто сакральное.

Я смотрю него и киваю. Киваю так убедительно, что сам почти верю, будто слушаю.

Ричард стоит рядом, попивает виски маленькими глотками, как человек, который давно понял: на таких вечерах выживает тот, кто экономит силы.

— Новая программа грантов, — говорит он мне вполголоса, пока страховой агент отвлекается на официанта с канапе, — фонд хочет удвоить финансирование в следующем году. Тебе стоит подать заявку на вторую экспедицию.

— Удвоить финансирование, — повторяю я без выражения. — Это они так решили компенсировать, что в прошлом году урезали вдвое?

Ричард фыркает в стакан.

— Ты невозможен.

— Я последователен. Это разные вещи.

На самом деле я не думаю ни про гранты, ни про синергию. Я думаю про то, что этот зал — зеркальный, золочёный, с лепниной на потолке, которую явно заказывали у того же декоратора, что оформлял половину отелей в этом городе, — за последний час высосал из меня весь запас терпения, какой у меня вообще есть, а запас этот не бесконечен даже в лучшие дни.

Пока я не увидел ее.

Эта женщина поменяла всё — та,ккоторая говорила о каком-то векторе доставки гена, ровно, без пафоса, без заискивающих пауз, которыми обычно привлекают спонсоров. Несколько минут общения с ней, подняло настроение так, что я стал душой компании и Ричард с восхищением смотрит на меня. Потому что ему сказали что хотят с нами сотрудничать уже три инвестора.

Хмыкаю про себя. Сначала я думал:полгода без женщины и я уже разглядываю докладчицу на благотворительном фуршете, как подросток на школьной дискотеке. Воздержание определённо не лучший советчик.

Но потом, во время общения что то щелкнуло внутри, забытое чувство, что с человеком может быть легко и просто. И хочется это продлить на ужин, ночь, день, вечность.

Как бы не потерять это чувство, которое раскрасило обычные серые будни в яркие краски.

* * *

Лифт поднимает меня на восьмидесятый этаж молча, без единого звука, будто сама кабина знает, что сегодня я не в настроении для лифтовой музыки. Дверь квартиры закрывается за спиной с тихим щелчком, и я иду прямо к бару, не включая верхний свет — только подсветка вдоль пола, что превращает коридор в взлётную полосу.

Виски льётся в стакан ровно на два пальца. Я подхожу к окну во всю стену и смотрю на Чикаго — россыпь огней, озеро где-то в темноте, невидимое, но угадываемое по чёрной

пустоте среди света. Привычный ритуал. Обычно в этот момент голова пустеет, и я просто стою, пью, смотрю, как город живёт своей ночной жизнью, не требуя от меня ничего.

Сегодня не пустеет.

Вместо огней я вижу зелёные глаза, которые смотрели на меня с таким расчётливым прищуром, будто взвешивали, сколько во мне фальши на грамм. Вместо гула города слышу голос — ровный, с лёгкой усмешкой на дне, — который произнёс «может, реплика была плохая» и этим одним движением выбил меня из колеи крепче, чем выбивал кто-либо за последние годы.

Мне в семь утра вылетать в Каир. Чемодан собран наполовину, документы на столе, список снаряжения для раскопок лежит рядом с ноутбуком, а я стою и думаю не о сетке координат на объекте, а о том, как у неё дрогнули уголки губ, когда она сказала про экскурсию в прошлое.

Я усмехаюсь сам себе, отпивая виски. Хорош археолог. Завтра пятнадцати часовой рейс, а голова занята женщиной, которая умеет уколоть вернее любого скальпеля. Но от этого почему то так тепло в душе. Давно не испытываемое чувство.

Телефон лежит на барной стойке, экраном вниз. Беру его, смотрю на контакт — просто цифры, я даже не успел вбить имя, только номер, свежий, как нетронутая находка. Большой палец зависает над экраном.

«Чисто научный интерес», — говорю я себе почти вслух, и сам слышу, насколько это звучит жалко.

Научный интерес. Ага. Научный интерес к её груди под этим строгим пиджаком, к тому, как она наклоняла голову, объясняя вектор доставки гена, будто читала мне стихи. Я и слова такого — вектор — не знал толком до сегодняшнего вечера, а теперь будто сдавал экзамен по молекулярной биологии и неожиданно для себя получил высший балл за внимание к деталям, которые к биологии отношения не имели.

Убираю телефон обратно в карман пиджака. Не звонить. Не сегодня, по крайней мере.

Отхожу от окна, сажусь в кресло у камина, который не разжигаю, просто смотрю на холодные поленья, аккуратно сложенные помошницей, и в памяти всплывает другое — зал для торжеств, белые скатерти, оркестр, настраивающий инструменты, и женщина которая должна была быть в белом платье, но так и не вышла к алтарю.

Тогда сарказм спас меня. Я тогда шутил даже с теми, кто пытался меня утешить, шутил так остро, что люди отходили, не понимая, смеяться или бояться за моё психическое здоровье. Сарказм — моя броня, проверенная годами, надёжная, как хороший замок на старой гробнице.

Пробую применить его сейчас, привычно, на автомате. Говорю себе: подумаешь, встретил умную женщину на скучном фуршете, эка невидаль, через неделю забудешь имя. Говорю: ты профессионал своего дела, ты не мальчик, чтобы млеть от зелёных глаз и острого языка. Говорю себе ещё с десяток подобных фраз, отточенных годами самозащиты.

Не работает.

Впервые за долгое время броня трещит, и сквозь трещину пролезает что-то до отвращения похожее на предвкушение. Я сижу в темноте собственной гостиной, на высоте восьмидесяти этажей над городом, и чувствую себя так, будто нашёл в земле что-то важное, что-то, что может перевернуть всю экспедицию, а инструментов для раскопок под рукой нет.

Достаю телефон снова. На этот раз палец не зависает.

Делаю дозвон, слушаю гудки, и пока жду ответа, успеваю придумать себе предлог ровно настолько убедительный, чтобы хоть немного успокоить ту часть меня, которая ещё верит в собственный сарказм.

* * *

Гудки тянутся долго, и я уже готов повесить, уже почти рад этому поводу струсить, когда она отвечает.

— Доктор Старк слушает.

Голос тёплый и чуть сонный, будто она не ждала звонка в такой час, но и не особенно удивлена. Я почему-то думал, что она ответит сухо, по-деловому, как на фуршете, когда объясняла про вектор доставки, а вместо этого слышу что-то домашнее, мягкое, и вся заготовленная фраза про уточнение деталей исследования рассыпается у меня во рту, как плохо обожжённая керамика.

— Это Ник, — говорю я и тут же понимаю, что не представился по фамилии, будто мы знакомы сто лет. — Археолог. С фуршета.

— Я помню, с кем разговаривала два часа назад, — в голосе смешок, едва заметный. — У вас появились вопросы по генной терапии в одиннадцать вечера? Я из Сиэтла, у нас уже час ночи.

— Простите. Это не терпело отлагательств. У меня появилась мысль, что я не до конца понял механизм доставки гена в клетку.

— Серьёзно?

— Нет, — признаюсь я, и сам удивляюсь, насколько легко это выходит. — Но звучит солиднее, чем «не могу перестать думать о женщине, которая сравнила свою профессию с археологией для живых».

На том конце короткая пауза, и я почти вижу, как она прячет улыбку, хотя видеть, конечно, не могу, вижу только тёмные окна напротив и собственное отражение в бокале.

— Вы всегда так заходите с козырей? — спрашивает она.

— Только когда боюсь, что собеседница повесит трубку раньше, чем я скажу что-то действительно умное.

— Пока что ничего умного я не услышала.

— Дайте мне время, доктор Старк. Я медленно запрягаю, зато потом раскапываю гробницы тысячелетней давности.

Она смеётся, и этот смех разворачивается у меня в груди чем-то совершенно неуместным для мужчины тридцати восьми лет, который видел уже достаточно, чтобы не млеть от женского смеха по телефону. Разговор катится дальше сам, без моего участия, перескакивает с ДНК на кости майя, с костей майя на то, что оба мы, по сути, копаемся в прошлом, только у неё прошлое помещается в пробирку, а у меня — в раскоп шесть на шесть метров.

— Кстати, о раскопе, — говорю я, и вот тут язык обгоняет голову, потому что я ещё не решил говорить это вслух, а слова уже вылетают. — Я завтра улетаю в Каир. Экспедиция, старые захоронения, обычная рутина. В отеле у меня забронировано два номера— один для коллеги, который в последний момент слёг с гриппом. Так что он теперь просто пустует.

Тишина.

Я слышу её дыхание, ровное, но чуть сбившееся, и понимаю, что сказал это вслух, по-настоящему, не как шутку, которую можно забрать назад смешком. Сердце почему-то начинает стучать быстрее, чем положено для телефонного разговора с малознакомой женщиной, и я ненавижу себя за это ровно столько, сколько длится молчание на том конце.

— Вы серьёзно сейчас зовёте меня в Египет, — говорит она наконец, без вопросительной интонации, будто проверяет фразу на звук.

— Я археолог. Мы редко шутим про раскопки, это непрофессионально.

— Николас, — произносит она моё полное имя так, будто взвешивает его на ладони, и мне нравится, как оно звучит в её устах куда больше, чем в устах кого-либо ещё за последние годы. — Я вас видела два часа.

— Два с половиной, если еще считать доклад.

— Это не меняет сути дела.

— Меняет статистику, — говорю я, и тут же сам слышу, как глупо это звучит, и голос у меня чуть дрожит, хотя я стараюсь держать привычный насмешливый тон, как будто мне совершенно всё равно, что она ответит.

А мне не всё равно. Это пугает больше, чем вся эта затея с приглашением.

— Я никогда не доверяла незнакомым мужчинам, которые звонят в одиннадцать вечера с предложениями о совместных поездках, — говорит она тише. — Но я так же пять лет не была в отпуске. Шеф третий день требует, чтобы я отдохнула после открытия, говорит, что я сгорю на работе раньше, чем доведу терапию до клинических испытаний. Каир… почему бы и нет. Мы можем вообще не пересекаться там, если я соглашусь, — говорит она как будто себе. — У вас свои раскопки, у меня свой музей и пирамиды.

— Можем, — соглашаюсь я, хотя всё во мне кричит обратное.

— Дайте мне подумать, — говорит она, и в голосе звучит что-то, чего я не умею разобрать: не отказ, но и не согласие, какая-то дрожащая середина, в которой мне отчаянно хочется разглядеть надежду.

— Думайте, — говорю я легко, будто мне всё равно, сколько времени это займёт. — Только не долго. Самолёт не ждёт даже самых умных генетиков.

Она прощается коротко, вежливо, кладёт трубку первой, а я остаюсь сидеть с телефоном в руке и совершенно непонятным ощущением в груди, будто я только что сам себе вырыл яму и ещё не знаю, упаду в неё или нет.

* * *

Я ещё несколько секунд стою с телефоном в руке, как будто он может взорваться, если я его опущу раньше времени. Экран гаснет сам собой. Где-то в глубине квартиры тикают настенные часы и этот звук сейчас кажется слишком громким.

Я не узнаю себя в том человеке, который десять минут назад произнёс фразу про второй номер так, будто это была самая естественная вещь на свете. Николас Деверoу не приглашает в путешествия женщин, с которыми знаком два с половиной часа. Николас Деверoу умеет держать дистанцию с такой же точностью, с какой датирует керамику по слою грунта. А тут язык выпалил предложение раньше, чем мозг успел поставить хотя бы один защитный вопрос. И самое интересное. Никакого заболевшего коллеги не существует и номера то же…

Я прокручиваю разговор заново, слово за словом, как будто от этого что-то изменится. Её «вы серьёзно сейчас зовёте меня в Египет» — без вопросительной интонации, с этой едва уловимой смесью недоверия и любопытства. Моё «мы редко шутим про раскопки, это непрофессионально» — сказано легко, а внутри в этот момент всё сжалось так, будто от её ответа действительно что-то зависело. И тишина после. Та самая тишина, в которую я вслушивался, как археолог вслушивается в породу, пытаясь угадать, что там, внутри, — пустота или находка.

Обычная моя уверенность, та, что работает безотказно на фуршетах, переговорах с инвесторами и прощаниях с женщинами, которые хотят от меня больше, чем я готов дать, — она почему-то дала трещину от одного молчания в телефонной трубке. Нелепо. Смешно, если вдуматься. Взрослый мужчина, тридцать восемь лет, куча экспедиций за плечами, человек, который спокойно вскрывает четырёхсотлетние захоронения, не моргнув, — а тут сидит и ждёт ответа женщины, которую видел два с половиной часа, как школьник у телефона в девяностых.

И вот тут я ловлю себя на мысли, от которой хочется налить ещё виски: я хочу, чтобы она сказала «да». По-настоящему хочу. Не из вежливости, не из спортивного интереса добавить ещё одну победу в список, а просто потому, что мысль о Каире без неё вдруг кажется пресной, будто кто-то вынул из блюда главный ингредиент, а остальное оставил на тарелке доедать по привычке.

Сарказм молчит. Тот самый сарказм, который годами спасал меня от любых серьёзных разговоров, от вопросов «почему ты один», от взглядов женщин, которые хотели заглянуть глубже, чем я позволял. Сейчас у меня нет под рукой ни одной колкой фразы, чтобы прикрыться. Есть только голое, неудобное ожидание, которое сидит где-то под внутри и не собирается никуда деваться.

Я подхожу к окну. Город внизу раскинулся огнями— привычная картинка, которая обычно работает не хуже виски: смотришь на этот масштаб, и собственные проблемы ужимаются до размера точки на карте. Сегодня не работает. Я смотрю на огни и думаю о завтрашнем рейсе, о гостиничном номере, куда я приду один. И Каир вдруг кажется мне слишком пустым — так, будто я уже знаю, что будет, если он останется пустым все эти недели раскопок.

«Во что ты только что ввязался, Девероу», — спрашиваю я себя и не получаю ответа, который устроил бы.

Вместо этого беру телефон снова, нахожу номер отеля в Каире, набираю. Голос портье звучит сонно и вежливо одновременно.

— Добрый вечер. Это Николас Девероу, бронь на завтра, номер на имя фонда.

— Да, мистер Девероу, всё подтверждено.

— У вас найдётся еще один номер с видом на Нил? На моем этаже, желательно рядом. На случай, если ко мне присоединится гость.

Пауза на том конце — короткая, деловая, без намёка на удивление: мало ли какие гости бывают у человека, который финансирует половину экспедиции.

— Разумеется, мистер Девероу. Поставим еще один резерв на имя фонда.

Я благодарю, вешаю трубку и только потом понимаю, что сделал. Забронировал номер для женщины, которая ещё даже не ответила «да». Номер с видом на Нил, потому что подумал — ей должно понравиться, как солнце садится над рекой, хотя я понятия не имею, любит ли она закаты вообще, любит ли она реки, любит ли она вообще что-то, кроме своих пробирок и ДНК.

Я усмехаюсь сам себе, но смех выходит каким-то неуверенным, без привычной остроты.

Телефон лежит на столе рядом с бокалом, экран тёмный, молчаливый. Я смотрю на него так, будто он должен зазвонить прямо сейчас, хотя прекрасно знаю: она сказала «дайте подумать», и думать нормальные люди не привыкли за полчаса.

Остаётся только ждать. И гадать, во что я, чёрт возьми, только что ввязался.

Глава 5. Билет в один конец

В кафе пахнет корицей и подгоревшим эспрессо — запах, от которого в обычный день у меня дёргается бровь, а сегодня я даже не замечаю. Самолёт из Чикаго приземлился три часа назад и я успела только заехать домой переодеться. Мел уже сидит за нашим угловым столиком, тем самым, где мы разбирали каждую её ссору с Джейкобом и каждый мой провальный эксперимент за последние пять лет ну и отсутствие моей личной жизни. Она смотрит на меня так, будто я явилась прямо с места преступления.

— Ты написала «срочно». Заглавными буквами. Я решила, что либо тебя повысили, либо случилось нечто, после чего захочется выпить, — говорит она, пододвигая мне чашку, которую,заказала заранее, зная меня слишком хорошо.

— Он позвонил, — говорю я, и уже сама слышу, что голос звучит не так, как должен звучать голос у человека, рассказывающего про рабочую командировку.

— Кто «он»?

— Ник.

Мел медленно опускает свою чашку на блюдце, и в этом жесте столько наигранного спокойствия, что я сразу понимаю: сейчас начнётся допрос.Мы созванивались после фуршета и я в кратце рассказала что познакомилась с опасным мужчиной. Но он точно не позвонит.

Я рассказываю всё по порядку, хотя порядок у меня в голове давно перемешался: звонок поздно вечером, его голос — чуть хриплый, будто он позвонил, не успев толком подумать, — приглашение в Каир, его раскопки, две недели, отдельный номер с видом на реку, потому что у второго члена его команды грипп и место в освободилось. Я проговариваю детали быстро, перескакивая, и ловлю себя на том, что мои руки обвивают чашку слишком крепко, будто я боюсь, что кто-то её отнимет.

— Погоди, — Мел поднимает ладонь, останавливая меня. — Отдельный номер. Он предложил тебе отдельный номер в Каире. С видом на Нил. Вот прямо так, без того чтобы спросить, согласна ли ты вообще на что-то, кроме кофе.

— Да.

— Доктор Старк, — Мел наклоняется вперёд, и в глазах у неё пляшут знакомые чёртики, — вы издеваетесь. Вы знакомы с этим человеком 2 часа. Вы даже не целовались.

Жар приливает к щекам быстрее, чем я успеваю придумать достойный ответ, и я утыкаюсь взглядом в пенку на капучино, будто там написана подсказка.

— Мы разговаривали, — говорю я неубедительно. — И потом, он просто предоставляет мне номер бесплатно. Я могу его и не увидеть…ни разу.

— Ну конечно. Высокий, богатый археолог, внезапно оказался тонкой душевной организации. Как неожиданно. Интересно почему он не пригласил какого нибудь пристарелого мужика, который не в состоянии купить себе путевку. — Мел откровенно смеётся.

Я уже готовлю ответную колкость, что-то про её собственный вкус на мужчин, который не выдерживает никакой критики, но осекаюсь, потому что Мел вдруг замолкает сама. Она смотрит на меня — не с подколкой, а как-то иначе, внимательнее, будто разглядывает что-то, чего не видела очень давно.

— Мэри, — говорит она тихо. — У тебя глаза горят.

— Что?

— Два года, — Мел качает головой, и шутливость в её голосе исчезает без следа. — Два года я смотрю, как ты заходишь в эту дверь с таким лицом, будто идёшь сдавать кровь. А сейчас у тебя вид, как будто тебе снова пятнадцать и ты влюбилась в соседа по парте.

Мне хочется возразить, сказать что-то про профессиональную необходимость, про то, что фонд Деверoу спонсирует половину лаборатории и будет невежливо отказать но слова застревают где-то в горле, потому что это неправда, и мы обе это знаем.

— Я боюсь, — говорю я вместо этого, и голос предательски садится. — Не самолёта. Не Каира, не песка, не того, что там наверняка сорок градусов в тени. Я боюсь, что снова почувствовала.. почувствую что-то настоящее. А потом окажется, что это снова… — я не договариваю, потому что имя бывшего до сих пор застревает у меня где-то в душе, как заноза, которую так и не вытащили до конца.

Мел накрывает мою руку своей, тёплой, с въевшимся запахом реагентов, который никаким мылом не смыть до конца.

— Так беги, — говорит она просто. — Хоть раз в жизни не думай, а беги.

Телефон в кармане вибрирует именно в эту секунду, будто ждал своего часа, и я вытаскиваю его почти против воли. На экране — сообщение, короткое, без лишних слов, не принимающее возражение.

«Я в Каире. Встречу в аэропорту. Когда вылет?»

Я смотрю на эти семь слов дольше, чем они того заслуживают, и чувствую, как по лицу расползается улыбка, которую я даже не пытаюсь спрятать.

* * *

Кабинет Стива пахнет кофе третьей заварки и бумагой, которая никогда не переводится на его столе, несмотря на все попытки лаборатории перейти на безбумажный документооборот. Я захожу с заготовленной речью, которую репетировала всю дорогу от парковки: про протокол переноса образцов, про то, что данные по третьей серии ещё не критичны, про то, что Мел прикроет меня на культивировании клеточных линий.

— Стив, мне нужно на неделю уехать, и я понимаю, что сейчас не лучший момент, учитывая, что мы подходим к публикации результатов по…

— Мэри.

Он поднимает взгляд от монитора раньше, чем я успеваю добраться до части про перенос данных, и в этом взгляде нет ни раздражения, ни того вежливого терпения, с которым он обычно слушает мои оправдания перед отгулом. Он смотрит на меня так, как смотрят на график, где что-то идёт не по плану.

— У тебя круги под глазами такие, что их можно было бы использовать как контрольный образец для исследования хронического недосыпа, — говорит он, откидываясь в кресле. — И последний раз ты брала отгул три года назад, когда у тебя сломался замок и ты не могла попасть домой. Я помню, потому что это был единственный раз, когда ты позвонила мне после десяти вечера.

— Это не отгул из-за замка, — говорю я, чувствуя, как заготовленная речь рассыпается где-то между грудной клеткой и горлом. — Это личное.

— Личное, — повторяет он, и в его голосе проскальзывает что-то похожее на любопытство, которое он тут же пытается замаскировать под профессиональную озабоченность. — Личное, не личное. Не важно. Ты одна свернула гору у нас в лаборатории. Ты заслужила отпуск, больше чем кто либо.

Улыбка расползается сама по себе, непрошенная, и я прикусываю щёку изнутри, пытаясь загнать её обратно, но получается плохо.

Стив смотрит на меня ещё секунду, потом коротко усмехается и качает головой, будто подтвердил гипотезу, в которой и не сомневался.

— Данные подождут, — говорит он просто. — А вот ты, кажется, не очень.

— Стив, я серьёзно, если третья серия…

— Третья серия простоит без изменений хоть месяц, Мэри, это клеточная культура, а не суфле. — Он снимает очки, трёт переносицу жестом человека, который слишком долго смотрит в монитор, и добавляет, уже мягче: — Я три года наблюдаю, как ты приходишь сюда в семь утра и уходишь в десять вечера, и единственное, что у тебя происходит за пределами этих стен, это ужин с Мел по пятницам. Езжай. Я больше доверяю твоей рассудительности, чем собственным графикам экспериментов, а это, поверь, высокая планка.

Я стою посреди его кабинета с ощущением, будто кто-то снял с плеч груз, о существовании которого я даже не подозревала, пока он не исчез. Хочется сказать что-то в ответ, поблагодарить как-то более весомо, чем простое «спасибо», но горло предательски сжимается, и я просто киваю, разворачиваюсь и выхожу в коридор, пока не сделала чего-то совсем непрофессионального вроде объятий посреди лаборатории.

Телефон в кармане халата нагрелся от того, что я весь разговор сжимала его в кулаке. Я достаю его уже на лестнице, набираю сообщение одним пальцем, пока спускаюсь.

«Чувствую себя пятнадцатилетней, которая сбегает за незнакомым парнем через полмира. Это нормально?»

Ответ приходит быстрее, чем я успеваю дойти до парковки.

«Абсолютно ненормально. Но я проверил, в список серийных похитителей генетиков меня пока не внесли, так что риски приемлемые».

Я смеюсь вслух, одна, посреди пустой лестничной клетки, и прохожий охранник смотрит на меня с лёгкой тревогой. Пальцы сами набирают следующее сообщение.

«Если честно, я давно мечтала увидеть пирамиды. Это чисто профессиональный интерес к древним цивилизациям».

Пауза длится дольше, чем обычно, будто он что-то обдумывает, и когда ответ приходит, в нём уже не ирония, а что-то более тихое, более настоящее, от чего у меня почему-то щемит в области сердца.

«Тогда я покажу их тебе, до рассвета, пока там нет туристов. Обещаю».

Я останавливаюсь у машины с ключами в руке и телефоном, прижатым к груди, и несколько секунд просто стою так, глядя на серое сиэтлское небо, пытаясь понять, когда именно семь слов стали значить для меня больше, чем годы осторожности.

* * *

Чемодан опять лежит на кровати раскрытым, еще не успев отдохнуть от Чикаго. И я скармливаю ему всё подряд, не особо разбирая логику: льняное платье цвета песка падает рядом с блокнотом, где исчёркан весь последний протокол по вектору доставки, сверху ложится купальник, которого не доставала два лета, а под ним — зарядка от ноутбука, потому что даже в Каире, даже ради мужчины с хриплым голосом, данные по экспрессии генов не перестают существовать.

Я беру голубое платье, то самое, в котором чувствую себя чуть выше ростом и чуть умнее, чем есть, и кладу его сверху. Потом вынимаю и кладу зелёное. Потом снова голубое. Надо докупить пару платьев.Стою над чемоданом с этим куском ткани в руках, как будто от выбора зависит исход всей поездки, и вдруг слышу себя со стороны — взрослая женщина, доктор наук, перебирает платья, точно школьница перед первым свиданием, которого, строго говоря, даже не было.

«Ты летишь через полмира к человеку, которого знаешь четыре дня, нет два часа. Да точно! Пол часа беседы»— говорит мне голос, подозрительно похожий на голос мамы, когда та отчитывала меня за растраченные на ерунду выходные. Этот голос у меня в голове очень рассудителен, он напоминает про авиабилеты, про протокол третьей серии, про то, что взрослые люди не принимают решения, повинуясь звонку в полночь и фразе про пирамиды до рассвета.

Но есть и другой голос, тише, и он почему-то звучит убедительнее. Он напоминает, как давно у меня не билось сердце быстрее при виде входящего сообщения. Как давно я не улыба-

лась в пустой лестничной клетке так, что перепуганный охранник смотрел на меня с подозрением. Два года я выстраивала стены аккуратно, кирпичик к кирпичику, и вот один человек с ироничной усмешкой и слишком прямым взглядом нашёл в этой кладке щель, о существовании которой я сама не подозревала.

Оба. Остаются оба платья.

Я защёлкиваю замки чемодана, оба сразу, будто боюсь передумать, если задержусь хоть на секунду, и ловлю своё отражение в тёмном стекле окна над водой. За ним — чёрная гладь залива, редкие огни соседних домиков, а в стекле — я сама, растрёпанная, с горящими щеками, незнакомая немного той женщине, что неделю назад уходила из лаборатории в десять вечера и приходила обратно в семь утра. Эта, в отражении, выглядит так, будто вот-вот сделает глупость. И мне нравится, как она выглядит.

Я наливаю себе бокал вина, почти не задумываясь, просто чтобы руки чем-то занять, и выхожу через стеклянную дверь на маленькую террасу — пирс у кромки воды. Доски под ногами ещё хранят дневное тепло, хотя воздух уже остыл, пахнет водорослями и чужим ужином с соседней лодки. Забираюсь с ногами на плетёный диванчик, подтягиваю колени к груди и обхватываю бокал двумя ладонями, как будто он может согреть больше, чем вино внутри него.

Имею же я право на отдых, думаю я, глядя на отражение фонарей, дрожащее на воде. Три года без единого настоящего отпуска, три года клеточных культур и грантовых отчётов — заслужила хотя бы неделю без будильника в шесть утра. И пусть Ник Деверoу останется просто ярким, забавным знакомым на этой неделе, просто интрижкой, случившейся в чужой стране с чужим небом над головой, вспоминать которую через год я буду с улыбкой, как вспоминают студенческую глупость. Я не стану отказывать себе в этом. Понаслаждаюсь его шутками, тем хриплым шёпотом заговорщика, которым он произносит что-то серьёзное, будто доверяет секрет только мне одной. Отпуск с привкусом чего-то нового. Больше ничего. Я почему-то доверяю ему. Он не обидит. Он порядочный человек, главное избегать того, что ранит сердце.

Я делаю глоток, и вино кажется чуть терпче, чем обычно, а может, это просто вечер такой — терпкий, ждущий, пахнущий солью и решимостью, которую я ещё не до конца готова признать своей.

* * *

Чемодан стоит у моих ног, как верный пёс, готовый сорваться с места по первому свистку. Я сижу на деревянных ступенях крыльца, и доски под плащом холодят бёдра сквозь джинсы.. Залив дышит ровно, где-то вдалеке лает мотор проплывающей лодки, и весь этот привычный мир плавучего домика кажется мне декорацией к пьесе, в которой я вот-вот перестану играть роль сомневающейся женщины.

В последний раз спрашиваю себя, не сошла ли я с ума. Лечу через полмира, через океан и несколько часовых поясов, к мужчине, которого знаю меньше недели, повинуясь голосу в телефонной трубке и фразе про пирамиды на рассвете. Будь что будет, решаю я наконец и чувствую, как от этой мысли что-то внутри отпускает узел. Даже если там, в Каире, окажется только пустыня и разочарование, даже если Ник Деверoу забудет, что сам меня пригласил, отдых всё равно будет что надо. Я заслужила его без всяких условий.

Телефон вибрирует в кармане плаща, и я вздрагиваю так, будто меня застали за чем-то неприличным.

«Отдельный номер не означает отдельную жизнь. Если вдруг передумаешь в последний момент — буду ждать на ресепшене с табличкой „Доктор Старк, без похищения“.

Смех вырывается из меня слишком громко для пустой улицы, эхом отскакивает от соседних домиков, и я зажимаю рот ладонью, оглядываясь по сторонам, будто кто-то мог это услышать. Тревога, что сжимала грудь последние полчаса, на секунду отступает, уступая место теплу.. Вот ведь. Даже через текстовое сообщение этот человек умудряется находить щель в моей обороне.

Я перечитываю фразу ещё раз, потом ещё, словно хочу выучить её наизусть, как студентка — формулу перед экзаменом. Табличка с моей фамилией. Ресепшен. Без похищения. У меня не было отношений с мужчиной, который заставлял бы меня улыбаться в пустоту, с тех пор как… да, пожалуй, никогда не было.

Убираю телефон в сумку, как раз когда фары такси выхватывают из темноты доски причала, и поднимаюсь, подхватывая чемодан. Кроссовки чуть скользят на влажном дереве, но я иду уверенно, и водитель, невысокий мужчина с добрым усталым лицом, молча забрасывает мой багаж в багажник, пока я устраиваюсь на заднем сиденье и в последний раз оборачиваюсь на домик. Окна тёмные, вода блестит под уличным фонарём, и всё это на неделю останется без меня. И как в детстве я спрашиваю у самой себя: интересно, что я буду чувствовать и знать, когда вернусь?

Дорога до аэропорта тянется через утренний город, мимо светофоров и редких прохожих, и я ловлю себя на том, что улыбаюсь собственному отражению в стекле, как будто кто-то невидимый стоит рядом и шутит без остановки. Водитель пару раз косится в зеркало заднего вида, вероятно, решая, не позвонить ли кому-нибудь из моих близких для проверки психического здоровья пассажирки. Я не могу стереть эту улыбку, даже когда пытаюсь напустить на себя серьёзный вид, достойный учёного степени доктора генетика.

В самолёте, уже пристегнув ремень и глядя в иллюминатор на огни взлётной полосы, я продолжаю думать о Нике. Не о Каире, не о пирамидах, не о музеях, которые обещала посетить ещё в студенчестве и так и не доехала. О его глазах, усталых и голубых, вокруг которых собираются тонкие морщинки, когда он улыбается той своей кривоватой улыбкой, будто знает какой-то секрет. Перед самым вылетом пришло ещё одно сообщение: «Встречу тебя в аэропорту. Лично. Без таблички, обещаю». И сердце пропустило удар, буквально, я почувствовала эту заминку где-то в груди, нелепую, девчоночью, совершенно недостойную человека с докторской степенью.

Хотела бы я меньше чувствовать, а больше думать головой, укоряю себя, пока самолёт отрывается от земли, и огни Сиэтла проваливаются вниз, в темноту. Соберись, Мэри. Он из мира пирамид и раскопок, ты — из мира пробирок и генных цепочек. Разные орбиты, случайное пересечение, ничего больше.

Но сердце, кажется, билетов в оба конца не покупает. Не сегодня.

Глава 6. Отель у Нила

Аэропорт Каира встречает меня гулом объявлений на трёх языках и запахом кофе пополам с бензином. Я приезжаю за сорок минут до прибытия рейса, хотя знаю расписание наизусть. Сорок минут — это нелепо. Я расхаживаю у стойки информации, проверяю телефон в седьмой раз за десять минут, будто рейс может прилететь раньше срока, если я достаточно сильно этого захочу и ловлю себя на мысли, что веду себя как студент перед первым свиданием, а не как человек, который десять лет руководит раскопками и умеет держать лицо перед советом директоров и перед песчаной бурей одинаково невозмутимо.

Соберись, Девероу. Это просто коллега по конференции.Просто женщина, с которой ты поговорил один вечер в Чикаго и не смог забыть ни единого слова, потом пригласил ее в Каир, так как она отказалась от ужина. Пустяки. Так все делают.

Табло мигает, рейс садится вовремя, и я заставляю себя прислониться к колонне, скрестить руки, принять вид человека, которому в целом всё равно. Получается плохо. Получается так плохо, что охранник у выхода дважды поглядывает в мою сторону, видимо, прикидывая, не поджидаю ли я кого-то с недобрыми намерениями.

Пассажиры начинают просачиваться через стеклянные двери — сначала редкими каплями, потом потоком, чемоданы на колёсиках стучат по плитке, кто-то обнимается, кто-то кричит имена. Я высматриваю её в этой толпе и нахожу не сразу, потому что ищу прежнюю Мэри, ту, из банкетного зала отеля в Чикаго, с идеальной укладкой и строгим пиджаком, а вижу совсем другую: волосы собраны в небрежный хвост, из которого выбились пряди, под глазами тени от почти шестнадцати часов перелёта, мятая рубашка, отсутствие косметики. И именно в этот момент, глядя на неё такую, уставшую и совершенно не позирующую, я понимаю, что хочу не пожать ей руку и предложить такси. Я хочу подойти и обнять так, чтобы она почувствовала: дорога закончена, дальше я сам всё улажу, дальше можно не держать спину прямой.

Мысль настолько чужая, настолько не в моём духе, что я почти вздрагиваю.

Она замечает меня раньше, чем я успеваю придумать, как себя вести, и на лице у неё проступает улыбка, усталая, но настоящая, та самая, из-за которой весь вечер в Чикаго я забывал, что должен был уйти через полчаса.

— Мисс Старк, — говорю я, забирая у неё ручку чемодана прежде, чем она успевает возразить. — Спасибо, что приехали. Для меня честь открыть вам Каир.

— Звучит так, будто вы продаёте мне экскурсионный пакет, — отвечает она, щурясь то ли от яркого света терминала, то ли от меня, и голос у неё хриплый после самолёта, но в нём всё та же насмешка, которую я запомнил. — «Каир де люкс, с личным гидом и без похищений».

— Похищение входит в премиум-тариф, — говорю я, и она смеётся, коротко, устало, но смеётся, и у меня внутри что-то расслабляется, будто сорок минут хождения вдоль колонны стоили этого звука.

Наши пальцы на секунду сталкиваются на ручке чемодана, когда я перехватываю его поудобнее, и тепло её ладони задерживается на моей коже дольше, чем длится сам контакт. Она отдёргивает руку, а я отвожу взгляд и мы оба делаем вид, что ничего не произошло, хотя оба, кажется, думаем об одном и том же.

— Вы без таблички, — говорит она, пока мы идём к выходу, лавируя между встречающими с цветами и табличками с арабской вязью. — Обещание сдержали.

— Я человек слова, мисс Старк

— Серьёзно? А мне казалось, вы человек, который берёт штурмом гробницы четырёхтысячелетней давности и называет это работой.

— Это тоже требует слова. Договориться с мёртвым фараоном бывает сложно.

Она качает головой, и я веду её к машине, чувствуя затылком, как близко она идёт, слыша, ее легкие шаги. Она здесь. Она прилетела. Так странно и так волнительно, одновременно. Отдельный номер, напоминаю себе, перекладывая чемодан из одной руки в другую, чтобы не думать о том, какая она сейчас тёплая и настоящая рядом со мной, не похожая ни на одну фотку с ее аккаунта. Красивее. И я чувствую себя так же как на приеме, нет сил сопротивляться ее обаянию. Может заселить ее на отдельный этаж, чтобы не наделать глупостей. Ох, Девероу. Ты уже сжигал себя однажды у алтаря ради женщины, которая исчезла быстрее, чем успела произнести «да». Второй раз ты сгоришь дотла и даже пепла не останется, чтобы кто-то заметил.

Я открываю перед ней дверь машины, и она задерживается на секунду, прежде чем сесть, глядя на меня снизу вверх с тем же прищуром, с каким смотрела на табло в терминале.

— Что? — спрашиваю я.

— Ничего, — отвечает она. — Просто думаю, во что я ввязалась.

— Поздно сожалеть, мисс Старк. Вы уже в Каире.

Она садится, и я захлопываю дверь чуть резче, чем хотел, обходя машину, чтобы дать себе десять секунд собраться, прежде чем сесть рядом и почувствовать, как в закрытом пространстве салона её запах, что-то цветочное пополам с дорожной пылью, обволакивает меня целиком, и я понимаю, что десять секунд было катастрофически мало.

* * *

Лифт закрывается, и в нём сразу становится слишком тесно для той дистанции, которую я поклялся держать с профессором. Мэри стоит у зеркальной стены, глядя на цифры этажей, и молчит, а я молчу вместе с ней. Она где-то в в 10 сантиметрах, не больше, и когда лифт вздрагивает на старте, её плечо на секунду касается моего рукава. Я чувствую запах её волос

и мне требуется усилие, чтобы не повернуть голову и не вдохнуть глубже.

— Я не могу поверить, что в Каире. Тут и правда жарко… Я так…благодарна вам, Ник, правда.

Я борюсь с желанием ее обнять

— Надеюсь вам понравятся бедуины, — я усмехаюсь и продолжаю серьезно, — Да не за что, Мэри. Номер всё равно был уже забронирован. Почему бы не пригласить туда светило нашей генетики. Вот вы сейчас отдохните и сделаете массу открытий. И даже поблагодарите меня в своих научных трудах

Она чуть улыбается отражению в зеркале, не мне, и я ловлю себя на том, что рассматриваю именно это отражение, линию её шеи, то, как выбившаяся прядь легла на воротник. Лифт останавливается с мягким звоном на пятом этаже, и я выхожу первым, пропуская её чемодан вперёд, будто щит между нами.

Номера расположены друг напротив друга через широкий коридор, устланный ковром с геометрическим узором, и я останавливаюсь ровно посередине, демонстративно указывая рукой в обе стороны.

— Ваш — справа, мой — слева. Чтобы не было недопонимания, — говорю я с интонацией человека, зачитывающего инструкцию по технике безопасности. — Отдельные этажи я вам обещать не мог, Каир не резиновый, но отдельные двери гарантированы.

— Очень предусмотрительно, — отвечает она, и в голосе проскальзывает что-то похожее на иронию пополам с облегчением, хотя я не уверен, что мне нравится это облегчение. — Боитесь скомпрометировать свою репутацию археолога?

— Боюсь скомпрометировать вашу, мисс Старк. Моя была подпорчена ещё до вас.

Она смотрит на меня веселым уставшим взглядом своих мховых глаз, но ничего не говорит, и я веду её в её номер, а оттуда, не давая ей времени рассмотреть кровать,на которую

она покасилась, тяну за собой на террасу, потому что там, если честно, настоящая причина, по которой я выбрал именно этот номер.

Терраса широкая, с плетёными креслами и низким столиком, с телескопом на треноге в углу и диваном, достаточно большим, чтобы на нём можно было лежать вдвоём и смотреть на звёзды, хотя я не говорю ей этой мысли вслух. Внизу течёт Нил, мутно-золотой в вечернем свете, с лодками-фелюгами, покачивающимися у берега, и минаретами, прорезающими горизонт тонкими иглами.

— Вот, — говорю я, облокачиваясь на перила с деланой небрежностью гида, который видел это тысячу раз и давно перестал удивляться. — Утром здесь хорошо пить кофе, вид проясняет мозги лучше любого кофеина. Вечером — вино, и уже не так важно, проясняется что-то или нет. Мэри улыбается.

— А телескоп зачем? — спрашивает она, подходя ближе и опираясь рядом, достаточно близко, чтобы я снова почувствовал тепло её тела через тонкую ткань рубашки.

— Он входит в стоимость номера. А вообще он для звёзд, не для бактерий. Как ваши микроскопы, только наоборот, будете смотреть вверх, а не вниз. Здесь не так светло, как в Чикаго, можно даже разглядеть что-то настоящее, а не только спутники и самолёты.

— Романтично, — говорит она с той же интонацией, с какой комментировала экскурсионный пакет в аэропорту, но в этот раз я слышу в голосе меньше насмешки и больше чего-то похожего на удивление.

— Это просто терраса, мисс Старк. Не приписывайте мне поэтических намерений.

Я смотрю на реку, но краем глаза вижу, как она облокачивается на перила, подставляя лицо тёплому ветру, и думаю о том, что всё это время, пока ждал её в терминале, пока мерил шагами плитку у выхода, я ни разу всерьёз не вспомнил ни о раскопках, ни о команде, ни о письме, которое получил от спонсоров вчера вечером. Вместо этого в голове крутились её голосовые в самолёте на пересадке, короткие и усталые, с тем самым смехом после одной из моих дурацких шуток про саркофаги, и я ловил себя на том, что улыбаюсь экрану телефона, как подросток, впервые получивший ответ от девчонки, которая ему нравится.

На секунду я сомневаюсь, правильно ли поступил. Нарушил собственный покой этими мховыми глазами. Но глядя на ее растерянное, уставшие лицо решаю- правильно. Пусть человек отдохнёт. А я с собой справлюсь. Взрослый же, мужчина.

Так что всё правильно. Просто делаем добрые дела- для шикарных генетиков- шепчет внутренний голос. Я отмахиваюсь.

— Устали, наверное, — говорю я, отступая на шаг назад, будто физическое расстояние способно исправить то, что происходит у меня внутри. — Перелёт долгий.

— Есть немного, — отвечает она, и в голосе слышится усталость, настоящая, не притворная, но в глазах сияет неподдельный интерес.

Я киваю, убеждая себя, что это просто забота хозяина о гостье, ничего больше, хотя прекрасно знаю, что вру сам себе так же убедительно, как убеждал весь день, что еду в аэропорт только потому, что так положено.

* * *

— Отдыхайте, мисс Старк. Два часа, больше не дам, иначе вы проспите ужин, и тогда мне придётся объяснять команде, почему я оставил учёного умирать от голода на пятом этаже.

— Два часа — это щедро, — говорит она, уже поглядывая на кровать и я замечаю что она держится на одном усилие воли— Обычно мне хватает двадцати минут, чтобы вернуться к жизни.

— Тогда у вас в запасе час сорок на макияж и сборы, чем не роскошь.

Она закатывает глаза и закрывает за мной двери, и я стою ещё секунду в коридоре, слушая, как щёлкает замок, и думаю о том, что от этого звука почему-то становится не легче, а тяжелее.

У себя я первым делом раскладываю на столе бумаги по раскопкам, будто физическое присутствие документов способно вернуть меня в рабочее состояние. Смета на следующий сезон, письма Сары насчёт разрешений, список оборудования, которое нужно дозаказать до отлёта в Гватемалу. Я читаю строчку про геофизическое сканирование три раза подряд и понимаю, что не помню ни слова.

За стеной, через коридор, работает кондиционер, я слышу его сквозь тонкие двери, или мне просто кажется, что слышу, потому что я слишком внимательно прислушиваюсь. Я ловлю себя на том, что представляю, как она сейчас стягивает с плеч дорожную рубашку, как падают на пол кроссовки, и обрываю эту мысль так резко, будто она опасна физически.

Беру телефон, набираю Сару. Нужен был повод, и повод нашёлся сам.

— Стол на четверых, как договаривались? — спрашиваю, прежде чем она успевает поздороваться.

— Девероу, мы это обсуждали вчера вечером. Да, стол заказан, да, Джон уже предвкушает, как будет всех смешить, да, я помню про вегетарианское меню для той журналистки, которую ты обещал позвать и так и не позвал.

— Отставить журналистку. — Я тру переносицу. — Просто проверь, чтобы столик был не у кухни. Там грохот посуды весь вечер.

— Какая трогательная забота о комфорте гостьи. А журналистка расстроиться, она смотрела на тебя как кот на сметану— усмехается Сара, и в голосе у неё появляется та особая интонация, с которой она обычно комментирует мои решения на раскопе, когда я слишком долго думаю над очевидным. — Обычно тебе было плевать, у кухни стол или у туалета, лишь бы вино несли вовремя.

— Просто хочу, чтобы у неё остались хорошие впечатления о Каире. Она тут впервые.

— Угу. — Пауза, которая говорит больше любых слов. — Конечно, дело в Каире.

— Сара.

— Молчу, молчу. Стол в углу, подальше от кухни, свечи, тихая музыка. Может, ещё цветы на стол заказать, пока я этим занимаюсь?

— Не паясничай.

Я кладу трубку раньше, чем она успевает добавить что-то ещё более меткое, и сижу несколько секунд, глядя в телефон, на котором высвечивается время. Час сорок до ужина. Я веду себя как студент перед первым свиданием, думаю я, и от этой мысли одновременно смешно и неловко, будто кто-то подловил меня за чем-то постыдным, хотя рядом никого нет, кроме стопки бумаг и собственного отражения в тёмном окне.

Это просто ужин, говорю я себе, вставая и подходя к окну. Представить команду, показать достопримечательности, обычное гостеприимство, которое я оказал бы любому коллеге, прилетевшему с другого континента. Ничего особенного в том, что я заказал столик подальше от шума. Ничего особенного в том, что я весь день думал, в каком платье она будет, хотя она наверняка взяла с собой что-то простое и практичное, потому что она не из тех, кто собирает чемодан ради впечатления.

Ничего особенного, повторяю я, и в этот момент понимаю, что убеждаю себя в этом слишком настойчиво для человека, которому действительно всё равно.

В коридоре хлопают двери, люди переговариваются на арабском и я ловлю себя на том, что улыбаюсь в пустую комнату, как идиот, и тут же одёргиваю себя, расстегиваяверхнюю пуговицу рубашки. Ещё час тридцать пять. Я смотрю на часы так, будто от этого время пойдёт быстрее, и впервые за долгое время ловлю себя на мысли, что ждать кого-то может быть почти так же невыносимо сладко, как находиться рядом.

* * *

Я стою у входа в ресторан, когда она появляется на лестнице, и в груди что-то обрывается, коротко и предательски, как струна.

Чёрные брюки, блестящий черный топ на тонких лямках, открытые плечи, волосы собраны в высокий хвост, в ушах длинные серьги, которые чуть покачиваются при каждом шаге. Босоножки на каблуках делают её выше, и она идёт по ступеням так, будто точно знает, куда ступает, хотя я вижу — замечаю, потому что слишком внимательно смотрю, — как она на секунду цепляется взглядом за меня, прежде чем взять себя в руки.

— Надеюсь, я не опоздала, — говорит она, подходя ближе, и от неё пахнет чем-то цитрусовым и свежим.

— Вы пришли вовремя. — Я слышу собственный голос как будто со стороны, слишком ровный для того, что творится внутри. Мы заходим внутрь ресторана при отеле и я подвожу ее к столику, — Сара, Джон, знакомьтесь — Мэри Старк.

Сара поднимается первой, невысокая, темноволосая с короткой стрижкой, с той особой манерой держаться прямо, которая появляется у людей, проведших слишком много лет над раскопами в наклонном положении. Она протягивает руку и разглядывает Мэри с спокойным, чуть прищуренным взглядом, с каким обычно смотрит на найденный черепок — не враждебно, но оценивающе.

— Очень приятно, — говорит Сара. — Наслышана о вас. Ник упоминал, что вы занимаетесь генетикой.

— Да, вирусами, на данный момент, — отвечает Мэри, садясь на предложенный мной стул. — Генная терапия.

Джон присвистывает так громко, что пара за соседним столиком оборачивается.

— Погодите, погодите. — Он подаётся вперёд, упираясь локтями в стол, светлые волосы падают на лоб, и он отбрасывает их жестом, явно отрепетированным перед зеркалом не один год. — То есть вы в самом деле трогаете руками ДНК? Не в переносном смысле, а вот буквально, пробирки, вот это всё?

— Буквально, — подтверждает Мэри с едва заметной улыбкой. — Хотя чаще это выглядит как таблицы в компьютере, а не как в кино.

— Нет, вы издеваетесь. — Джон прижимает руку к груди с таким видом, будто его подстрелили. — Я откапываю кости людей, которые умерли тысячи лет назад, а вы чините код жизни у живых. У меня профессиональный комплекс неполноценности начинается прямо сейчас.

— Переживёшь, — говорю я, разворачивая салфетку, — Мэри, кушайте- вы ничего не ели с дороги.

Мэри накладывает себе салат, я подкладываю ей стейк. Официант разливается вино, мы чекаемся и выпиваем. Мэри всё еще выглядит смущенной.

Джон не замечает моей иронии, или делает вид, что не замечает, и весь следующий час вьётся вокруг Мэри с упорством, которое я нахожу неожиданно раздражающим. Спрашивает про лабораторию, про Сиэтл, не разбирается ли она в породах уток, раз живет у воды, смеётся собственным шуткам раньше, чем успевает их закончить, и всякий раз, когда Мэри отвечает что-то остроумное, смотрит на неё так, будто она единственный человек за столом.

— А правда, что вы можете по одной капле крови узнать всё обо мне? — спрашивает он, понижая голос до того, что должно изображать интимность. — Прошлое, будущее, с кем я должен быть счастлив…

— Я не гадалка, Джон, — отвечает Мэри ровно, не поднимая взгляда от бокала. — Максимум, что я смогу сказать по капле крови, — это стоит ли вам чаще мыть руки перед едой.

Сара фыркает в салфетку, а я чувствую, как у меня дёргается уголок рта, и вместе с этим — короткую, совершенно нелепую вспышку удовлетворения оттого, что она не поддалась.

— Видишь, Джон. — Я откидываюсь на спинку стула, стараясь, чтобы голос звучал лениво, незаинтересованно. — Тебе сказали чаще мыть руки. Чистая наука.

— Это была не наука, это было обидно, — бормочет он, но тут же снова оживляется, наклоняясь к Мэри с новым вопросом, и я ловлю себя на желании как-нибудь незаметно пересадить его подальше, к примеру к той журналистке, которую я так и не позвал.

Это глупо. Он просто разговорчивый парень двадцати шести лет, который флиртует со всем, что движется и умеет поддержать беседу, и я прекрасно это знаю, и всё равно каждый его смешок в её сторону отзывается во мне чем-то похожим на зубную боль.

— Завтра пирамиды, — говорю я громче, чем он, обрывая очередной вопрос Джона на середине. — Выезд в шесть утра, пока не начался ад с туристами и жарой.

— Жестоко, — говорит Сара, но уже тянется за меню десертов, и разговор послушно сворачивает в сторону маршрута, времени, солнцезащитного крема, и я наконец выдыхаю, будто весь вечер держал что-то в кулаке, глядя на Джона.

Мэри слушает, задаёт вопросы по делу, смеётся над шуткой Сары про туристов в сандалиях с носками, и в какой-то момент мне становится не по себе от того, какая она приятная, как она легко, естественно вписывается за этот стол, в этот разговор, в этот вечер, словно всегда была частью команды, частью моей жизни здесь, за тысячи километров от того, что я привык считать своим миром.

Эта мысль пугает меня больше, чем я готов признать, и я тянусь за бокалом вина, чтобы не думать о ней дальше.

* * *

Когда ужин сворачивается к кофе и чекам, Джон тянется за телефоном с видом человека, которому только что пришла гениальная идея.

— Слушайте, тут рядом набережная, можно пройтись, показать мисс Старк ночной Каир, пока она не уснула от джетлага…

— Мэри прилетела несколько часов назад, Джон, — говорю я, и, кажется, не слишком успешно прячу в голосе что-то острое. — Ей нужен сон, а не экскурсия в полночь с геологом, у которого завтра подъём в пять.

— Я бы с радостью, — говорит Мэри мягко, и я ловлю взгляд, которым она на секунду задерживается на мне, прежде чем снова повернуться к Джону с той же вежливой улыбкой, — но правда, думаю, лучше лечь. Завтра пирамиды, не хочу засыпать на верблюде.

Джон пожимает плечами, слишком легко сдаваясь, и я ненавижу себя за облегчение, которое чувствую при этом.

Мы с Мэри идём по коридору отеля, и после шумного ресторана тишина звучит оглушительно. Ковёр глушит шаги, бра вдоль стен бросают тёплый рыжий свет, и где-то за окнами тихо шумит ночной город, который сегодня стал существовать для меня только как фон к её лицу. Разговор иссяк сам собой ещё в лифте, и теперь мы идём молча, и это молчание не тяжёлое, но плотное, будто воздух между нами стал гуще.

Я останавливаюсь у её двери раньше, чем успеваю придумать, что сказать. Я смотрю на неё и ловлю себя на абсурдном, совершенно детском желании коснуться её щеки, убрать прядь волос, выбившуюся из хвоста за вечер, и будто проверить, настоящая ли она здесь, в этом коридоре, так далеко от америке.

Я не делаю этого.

— Завтра в шесть, — говорю я вместо того, что хочу сказать. — Я постучу в полшестого, на всякий случай, вдруг проспите.

— Я не просплю, — отвечает она с лёгкой улыбкой, но не торопится доставать ключ-карту, и я тоже не тороплюсь уходить, хотя прекрасно знаю, что должен. — Хотя после сегодняшнего перелёта ничего не обещаю.

— Тогда буду стучать, пока не откроете. Можете воспринимать это как угрозу.

— Звучит как услуга, а не угроза.

Она смотрит на меня снизу вверх, и в её глазах мелькает что-то похожее на вопрос, который она не задаёт, и я понимаю, что если простою тут ещё минуту, то скажу какую-нибудь глупость, из тех, что потом не возьмёшь обратно.

— Джон неисправим, — говорю я вместо этого, слишком резко меняя тему. — Извините за него. Он думает, что обаяние заменяет такт.

— Он забавный, — говорит Мэри, и в её голосе я слышу смех, но смотрит она при этом на меня так, что сводит челюсть.

Пауза тянется. Я мог бы спросить, как она себя чувствует, напомнить про воду на тумбочке, сказать что угодно, лишь бы не уходить, но вместо этого слышу собственный голос, слишком ровный, слишком деловой:

— Спокойной ночи, Мэри.

Получается резче, чем я хотел, почти как команда, и я вижу, как в её взгляде на долю секунды мелькает что-то вроде удивления, будто она ждала другого тона, другого слова, а я вместо этого захлопнул дверь прежде, чем она успела приоткрыться.

— Спокойной ночи, Ник, еще раз спасибо за всё, — отвечает она тихо, и в этом тихом звучит столько же недосказанного, сколько в моём «спокойной ночи».

Она скрывается за дверью, и щелчок замка кажется мне неприлично громким в пустом коридоре.

Я стою ещё секунду, глядя на номер на на ее двери, которая отделяет меня от неё и целую пропасть здравого смысла, которую я сам же выстроил сегодня днём. Потом разворачиваюсь и иду к своей двери, и каждый шаг по этому ковру отдаётся во мне нелепым, совершенно неуместным сожалением, будто я теряю что-то важное просто потому, что выбрал быть благоразумным.

* * *

Номер на моей двери скользит по сетчатке и остаётся там, когда я закрываю глаза: 1517. Я лежу поверх покрывала не раздевшись, рубашка расстёгнута на две пуговицы.

Потом — шаги. Лёгкие, почти неразличимые, босые по паркету. Я слышу или представляю. Скорее второе. Что-то глухо стукает, наверное, чемодан о тумбочку. Вода в кране течёт недолго и обрывается. Я представляю, как Мэри снимает серьги перед зеркалом, расстёгивает блестящий топ на лямках, и тут же запрещаю себе представлять дальше, потому что дальше мне представлять нельзя, я сам отгородил это расстояние, да и Мэри уж точно не кидается в объятия первого встречного или второго…

Письмо всплывает в памяти без приглашения, как оно обычно и делает. Три строчки, написанные чужим круглым почерком на кремовой бумаге, которую выбирала ещё она сама для приглашений на свадьбу, оставшуюся без нее. Я вспоминаю как нашёл его недавно, разорвал и сказал себе: всё, хватит таскать это за собой, как камень в кармане. И вот я лежу в каирском отеле и слушаю шаги женщины, которую знаю три дня, и чувствую, что камень никуда не делся, просто сменил форму.

Нельзя повторять одно и то же дважды. Подпустить слишком близко — значит снова оставить дверь открытой, через которую однажды уже вышли не попрощавшись. Я убеждаю себя в этом с той же интонацией, с какой убеждал клиентов фонда в надёжности финансовых расчётов: ровно, обстоятельно, без тени сомнения в голосе. Внутри, впрочем, звучит совсем другой голос, и он спрашивает, зачем вообще нужны такие расчёты, если за ужином достаточно было одного её смеха, чтобы расчёты полетели к чертям.

Я переворачиваюсь на бок, смотрю в тёмное окно, за которым едва угадывается блеск Нила под жидким светом набережных фонарей. Нужно оставить между нами коридор — восемь шагов, две двери, здравый смысл. Пусть она остаётся гостьей, которую я сопровождаю к пирамидам, коллегой по странному совпадению интересов, случайной попутчицей в моей размеренной, хорошо отстроенной жизни. Так безопаснее для нас обоих. Так я не позволю себе снова почувствовать, что без кого-то не могу дышать полной грудью, а потом стоять в костюме перед залом гостей и слушать, как объявляют, что церемонии не будет.

Я почти убеждаю себя. Почти — и тут вспоминаю лицо Джона за ужином, то, как он наклонялся к Мэри чуть ближе, чем требовала вежливость, как смеялся с ней над какой-то шуткой про хромосомы, которую я не до конца понял, зато отлично понял взгляд, которым он провожал её через весь зал. Завтра у пирамид будет то же самое: его неугомонное обаяние, её лёгкость в ответ, и я снова буду стоять рядом, улыбаясь сквозь зубы, делая вид, что мне всё равно, с кем она шутит и чей смех её по-настоящему задевает.

Мысль о Джоне раздражает сильнее, чем должна бы, если я действительно собираюсь держаться на расстоянии. Какой смысл в дистанции, если от ревности меня всё равно разрывает на части? Я переворачиваюсь на спину, кладу руку на лицо, пытаясь выдавить из головы оба образа разом: порванное письмо и улыбку Джона, обращённую к Мэри

Держать дистанцию, повторяю я себе, уже без прежней уверенности, скорее как заклинание, которое произносят, не особо веря в его силу. Ради неё. Ради себя. Ради того, чтобы через неделю, когда она улетит обратно в свой плавучий домик в Сиэтле, у меня осталась хотя бы видимость целой головы на плечах.

В отеле становится тихо. Я лежу, слушая город за окном, далёкие гудки машин на набережной, и сон подкрадывается незаметно, стирая и письмо, и Джона, оставляя одно: её смех за ужином, неожиданно низкий, настоящий, без тени кокетства, и то, как мучительно сильно мне хочется услышать его снова.

Глава 7. Пыль веков

Терраса встречает меня прохладой, которая через час растворится в каирском пекле без следа. Нил внизу ещё серый, сонный, только кромка у восточного берега тронута розовым, и я сажусь в плетёное кресло с чашкой кофе, которую приносит молчаливый официант в белой курточке. Кофе здесь густой, с кардамоном, совсем не похож на то, что я пью по утрам в Сиэтле из своей старой турки, и я делаю первый глоток медленно, будто пробую на вкус сам Египет

Город внизу ещё не проснулся окончательно. Минарет где-то за крышами отзывается первым призывом муэдзина, протяжным и странно умиротворяющим, и я ловлю себя на том, что слушаю его с закрытыми глазами, как музыку.

А потом, без всякого повода, перед глазами встаёт вчерашний ужин. Свечи на столе, запах жасмина из сада отеля, смех Джона — он тогда наклонился ко мне через стол, сказал что-то про спираль ДНК и двойную спираль минарета напротив, довольно неуклюжую шутку, но я засмеялась из вежливости. И в этот момент, на долю секунды, я поймала взгляд Ника. Что-то дёрнулось в его лице, какая-то тень прошла по скулам, челюсть напряглась едва заметно, а потом он снова взял бокал и заговорил о завтрашней поездке к пирамидам, спокойно, почти равнодушно.

Или мне показалось.

Я усмехаюсь сама себе, прикусываю край чашки. Мэри, тебе тридцать один год, а не шестнадцать, чтобы разглядывать за столом чужие взгляды и выискивать в них ревность. Может, у него просто сводило живот от слишком острого соуса.

Но мысль не уходит, крутится, как муха над столом, и я снова вижу эту сцену: Джон, весёлый, лёгкий, рассказывающий байки про раскопки с таким азартом, будто ему всё ещё восемнадцать и мир — сплошное приключение без последствий. Симпатичный, да. Безопасный, предсказуемый, как подросток, который хочет понравиться всем сразу.

И Ник. Молчаливый, взрослый, опасный с этой его полуулыбкой, которая появляется, только когда он на самом деле удивлён или тронут, а не когда положено улыбаться вежливости ради. Взрослый мужчина, который смотрит на тебя так, будто уже успел подумать о тебе что-то, о чём не скажет вслух. От одной мысли об этом взгляде у меня внутри что-то обрывается и летит вниз, как в лифте, когда кабина трогается слишком резко.

Можно удариться в курортный роман с Джоном, он явно за. Насладиться его беззаботностью и улететь с лёгким сердцем полным веселья и наслаждения от приключений. Но сердце выбирает явно не того, кто безопаснее. Отличная новость для девушки, которая два года собирала себя по кусочкам после Дэвида.

Я ставлю чашку на блюдце чуть резче, чем нужно, фарфор звякает тонко, почти обиженно. Соберись, Старк. Ты здесь по приглашению, посмотреть пирамиды и место раскопок, если повезет. Это просто отпуск, пусть такой внезапный и странный. Не романтическое путешествие. Не курорт для сердца, соскучившегося по теплу.

Пульс, разумеется, слушать меня не намерен.

Я возвращаюсь в номер, ставлю пустую чашку на столик у двери и иду к шкафу, где платья висят ровным рядком, будто сами не ждали, что мне будет так важно, какое из них выбрать этим утром. Останавливаюсь на белом, струящемся, лёгком, как дыхание, — купила его в последний момент перед вылетом, в каком-то магазинчике в аэропорту, повинуясь порыву, который тогда не смогла объяснить даже себе.

Надеваю его перед зеркалом, и ткань скользит по коже прохладным шёлком. Смотрю на своё отражение: зелёные глаза отвечают непривычно ярко, будто кто-то подсветил их изнутри, щёки чуть тронуты румянцем, хотя никакого солнца я ещё не видела сегодня, кроме того, что только встаёт над Нилом.

Тебе тридцать с небольшим, Мэри, говорю я своему отражению, а смотришь ты, как девчонка перед первым свиданием.

Я встряхиваю головой, и волосы рассыпаются по плечам тёмными волнами, скользят, будто живые. Оставлю так, без заколок, без строгого хвоста, в котором хожу в лаборатории. Сегодня можно побыть не учёным. Присаживаюсь на край кровати, застёгиваю ремешки плоских сандалий, разглаживаю подол платья.

Готова.

В дверь стучат — два коротких удара, уверенных, без лишней настойчивости, и голос за ней звучит так, что я узнаю его раньше, чем успеваю подумать о словах.

— Мэри, ты как, проснулась? Каир ждать не любит.

Сердце снова даёт этот нелепый, предательский сбой, и я, затаив дыхание иду открывать дверь.

* * *

На Нике простая льняная рубашка, светлая, с закатанными рукавами, никакого делового лоска, которым он так щедро пользовался вчера за ужином. Волосы чуть растрёпаны, будто он провёл рукой, выходя из номера, и не подумал поправить. Выглядит моложе. Проще. Опаснее, если честно, — вся эта непринуждённость идёт ему куда больше, чем костюм.

— Доброе утро, — говорю я, и голос звучит ровно, по деловому

— Доброе. — Он окидывает меня взглядом, коротким, но таким, что я чувствую его кожей сквозь ткань платья. — Сара и Джон присоединятся после обеда, у них дела с разрешениями на расширение раскопа. Так что пока — только мы и Каир. Мы, кстати, пройдём через базар и ты поймёшь, что такое настоящий Египет.

Базар обрушивается на меня звуком раньше, чем картинкой: крики торговцев, звон металла, чья-то музыка, пробивающаяся сквозь гул толпы. Запахи плывут слоями — корица, тмин, что-то острое и сладкое одновременно, свежий хлеб из пекарни за углом. Я иду чуть позади Ника, впитывая всё жадно, профессионально, как привыкла впитывать данные: цвет тканей, развешанных над головой, медные подносы, блестящие на солнце, старика, раскладывающего специи горками, будто карту звёздного неба.

— Ты так смотришь, будто изучаешь образец под микроскопом, — замечает Ник, оборачиваясь.

— Я и изучаю. Просто без микроскопа.

Он останавливается у лотка с безделушками — подвески, резные фигурки, подозрительно одинаковые скарабеи из чего-то, что явно не является лазуритом, как уверяет продавец. Ник берёт одного скарабея в руки, вертит, хмурится с видом знатока, и я понимаю, что сейчас начнётся представление.

— Сто фунтов, — говорит продавец с достоинством человека, назвавшего окончательную цену.

— Двадцать, — отвечает Ник так спокойно, будто речь о погоде.

Продавец хватается за сердце почти театрально, начинает говорить быстро, размахивая руками, и Ник кивает, не теряя серьёзности, отвечает что-то на арабском — несколько слов, явно вызубренных, с чудовищным акцентом, но с таким апломбом, что продавец на секунду сбивается с ритма. Торг длится минут пять, оба входят во вкус, повышают голоса, картинно возмущаются, и в какой-то момент я понимаю, что хохочу в голос, прижав руку ко рту, потому что Ник Деверoу, спонсор и начальник археологической экспедиции, владелец квартиры на восьмидесятом этаже, торгуется за фальшивого скарабея с таким азартом, будто от этого зависит его репутация.

— Сорок, — выдыхает наконец продавец, сдаваясь.

— Сорок, — соглашается Ник и протягивает деньги с видом человека, одержавшего важную победу.

— Ты серьёзно только что потратил десять минут жизни ради камня стоимостью три доллара, — говорю я, когда мы отходим.

— Это не камень. — Он вкладывает скарабея мне в ладонь, пальцы на мгновение задерживаются поверх моих. — Это сувенир. На удачу.

— От человека, который находит настоящие гробницы, торг из за стекляшки звучит немного иронично. Но спасибо, мне приятно.

— От человека, который находит настоящие гробницы, подарок значит больше, чем кажется, — отзывается он, и в его голосе проскальзывает что-то серьёзное, тут же спрятанное за усмешкой.

Мы идём дальше, толпа густеет, кто-то толкает меня плечом, и я инстинктивно подаюсь ближе к Нику.

— Кстати, — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал легко, — Джон вчера был очень предупредителен. Всё подливал мне вина. Так приятно. И Сара мне понравилась, хоть она больше молчит.

— Джон всегда так с новыми людьми, — отвечает Ник слишком быстро, глядя прямо перед собой. — Энтузиазм через край. Молодой ещё.

— Ревнуешь? — вырывается у меня прежде, чем я успеваю прикусить язык. Как то само собой мы переходим на ты…

— С чего бы. — Слишком резко отвечает Ник, или мне так кажется, — Просто не хочу, чтобы у тебя сложилось превратное впечатление о профессионализме команды.

— Конечно, — киваю я серьёзно. — Исключительно из профессиональных соображений.

Он бросает на меня взгляд, полный притворного возмущения, и в этот момент толпа снова сдвигает нас друг к другу, чья-то корзина с тканями проезжает слишком близко, и наши руки на долю секунды соприкасаются — тепло его пальцев против моих, мимолётное, случайное.

Мы оба отдёргиваем руки одновременно, будто обожглись, и тут же делаем вид, что ничего не произошло: я разглядываю ковры впереди с преувеличенным вниманием, он что-то спрашивает у продавца про дорогу к мечети, и голос его звучит чуть более резко, чем нужно для такого простого вопроса.

Сердце колотится так, что я слышу его сквозь гул базара, и я очень надеюсь, что это не так заметно снаружи, как ощущается изнутри.

* * *

Пирамиды появляются не сразу — сначала просто жёлтая дымка над горизонтом, которая постепенно густеет, обретает очертания, и вот уже машина въезжает на парковку, и я вижу их по-настоящему: три каменные горы, слишком огромные, чтобы их построили древние люди, слишком невероятные, чтобы в них верилось.

Ник выходит из машины первым, обходит её, открывает мне дверь — жест настолько привычный для него и настолько непривычный для меня, что я каждый раз на секунду теряюсь, прежде чем подать руку.

— Хеопс, Хефрен, Микерин, — говорит он, кивая на каждую пирамиду по очереди, и в его голосе появляется что-то новое, какая-то лёгкость, которой не было ни на базаре, ни за ужином вчера. — Слева направо, если считать по размеру. Хотя египтологи до сих пор спорят, в каком порядке их на самом деле строили.

— Ты говоришь об этом так, будто лично присутствовал при закладке первого камня.

— Почти. — Он улыбается, прикрывая глаза ладонью от солнца. — Я писал диплом по технологиям транспортировки блоков. Три года жизни, Мэри, три года я думал только о том, как тащили эти чёртовы глыбы по пустыне без колеса.

И что-то в том, как он это произносит — без иронии, без защитного слоя сарказма, которым он часо обтягивает каждое своё слово, — заставляет меня остановиться и посмотреть на него внимательнее.

Мы идём вдоль основания пирамиды, и он продолжает рассказывать: про известняковую облицовку, которая когда-то делала эти громады ослепительно белыми, про рабочие посёлки, найденные неподалёку, про то, что строили их не рабы, как любят повторять в фильмах, а свободные люди, получавшие хлеб и пиво за свой труд. Голос его меняет тембр, когда он говорит о вещах, которые по-настоящему любит, — становится ниже, медленнее, будто он боится спугнуть собственный восторг слишком быстрой речью.

— А Гватемала? — спрашиваю я, когда мы останавливаемся в тени, и жара пустыни наконец немного отступает. — Что там, на раскопках?

Он замирает на секунду, и в глазах у него появляется что-то совсем другое — не просто интерес, а почти нежность, с какой говорят о чём-то очень личном.

— Захоронение, — говорит он. — Возможно, царское. Я нашёл первые признаки год назад, резные камни с эмблемами, которые раньше не встречались ни в одном известном комплексе. Если мы правы, это перепишет часть хронологии майя классического периода.

— Звучит внушительно.

— Звучит как работа всей жизни, — поправляет он, и в его тоне впервые за всё время нашего знакомства нет ни капли позёрства. — Я финансирую три экспедиции в год, Мэри. Большинство из них заканчиваются ничем, черепками и разочарованием. Но раз в несколько лет случается что-то вроде этого, и ради этого стоит тратить все остальные деньги и все остальное время.

Он говорит про стратиграфию и датировку по углероду, про то, как местные жители в деревне рядом с раскопками поначалу не доверяли команде, пока он не прожил там два месяца, разделяя с ними еду и дожди, и чем дольше я слушаю, тем всё больше убеждаюсь: человек передо мной не имеет ничего общего с теми лощеными спонсорами из журналов и конференций. Ник Деверoу даже где-то в Чикаго, за стеклянными стенами офисов такой же как здесь, под солнцем, в пыли, среди камней, которым четыре тысячи лет, он — просто человек, одержимый вопросом, который для меня звучит почти поэтически: что люди оставляют после себя, когда их самих давно нет.

И мне нравится этот Ник. Нравится так сильно, что я почти жалею что приехала.

Я, должно быть, слишком долго смотрю на него, потому что он вдруг замолкает на середине фразы — что-то про резьбу на стелах, про символы, которые до сих пор не до конца расшифрованы, — и оборачивается ко мне.

— Что? — спрашивает он, и в голосе звучит неуверенность, которой я раньше в нём не слышала.

— Ничего, — говорю я торопливо и отвожу глаза, — Просто слушаю.

Он смотрит на меня ещё секунду, будто пытается понять, что именно я вижу, глядя на него так, и тень сомнения проходит по его лицу — удивление, смешанное с чем-то похожим на уязвимость. Ветер поднимает песок у наших ног, где-то вдалеке кричит продавец сувениров, предлагая туристам прокатиться на верблюде, а мы стоим друг напротив друга в тени четырёхтысячелетней пирамиды и молчим, и это молчание длится на секунду дольше, чем позволяет простая неловкость.

Потом он откашливается, отводит взгляд на груду каменных блоков впереди и продолжает рассказывать про систему рычагов, но голос его звучит чуть более напряжённо, чем минуту назад, и я вижу, как он сжимает и разжимает пальцы, будто ищет, куда деть руки.

Я тоже отвожу взгляд. Сердце стучит неровно, и я очень стараюсь убедить себя, что дело в жаре.

Посмотрев на сфинкса и пофотографировавшись, мы решили чуток передохнуть

* * *

Мы находим кусок тени в крытой веранде для гидов и Ник протягивает мне бутылку воды, которая уже успела нагреться на солнце. Я пью, и мне кажется, что даже тёплая вода здесь имеет привкус времени, как будто минерализована тысячелетиями песка.

— Можно спросить? — говорю я, глядя на сетку раскопа внизу, где лежат пронумерованные колышки. — Вы не боитесь, когда копаете три года, а находите в итоге только черепки и разочарование, как вы сами сказали?

Он долго молчит, крутя в пальцах крышку от бутылки.

— Боюсь, — говорит он наконец, и в этом слове нет ни капли привычной лёгкости. — Каждый раз. Представьте: вы вкладываете пять лет жизни, деньги, репутацию, веру людей, которые идут за вами в джунгли, пески, на край света, — и в итоге находите фундамент, который может оказаться просто хозяйственной постройкой, а не храмом. Это как ставить на одну карту.

— У меня то же самое, — вырывается у меня раньше, чем я успеваю подумать, стоит ли говорить. — С терапией. Я могу десять лет работать над последовательностью, которая должна встроиться в геном и заблокировать рецептор для вируса, и в последний момент выяснится, что иммунная система реагирует не так, как в модели. Что всё, во что я верила, было красивой теорией, а не наукой.

Ник поворачивается ко мне, и что-то в его взгляде меняется, становится внимательнее.

— И вы продолжаете.

— Потому что останавливаться страшнее, — отвечаю я. — Если я перестану, окажется, что всё это время я пряталась за пробирками, лишь бы не думать о том, что происходит в жизни, где нет контрольной группы.

Он усмехается, но невесело, и смотрит не на меня, а куда-то в сторону раскопа, где рабочие осторожно счищают песок кистями.

— Знакомое чувство, — говорит он. — Экспедиции, фонды, советы директоров. Если я постоянно в самолёте, мне не нужно разбираться, почему в собственной квартире на восьмидесятом этаже я чувствую себя гостем.

Он произносит это легко, почти шутя, но за лёгкостью проступает что-то настоящее, и я вдруг понимаю: он только что сказал мне больше, чем собирался.

— Я устал быть тем, кто всегда в порядке, — добавляет он тише, и в голосе проскальзывает усталость, которую я раньше не слышала ни в одном его слове. — Все вокруг думают, что раз у меня есть деньги и команда, которая слушается, значит, у меня и в жизни всё решено.

Он произносит это и тут же будто спохватывается, резко меняет позу, отряхивает песок с колена.

— Впрочем, забудьте, жара действует мне на голову, — говорит он с прежней усмешкой, но я уже успела увидеть то, что он на секунду приоткрыл, и это не исчезает просто потому, что он решил спрятать это обратно.

Я чувствую укол узнавания настолько острый, что на мгновение забываю ответить. Потому что я делаю ровно то же самое в лаборатории: прячусь за пипетками и протоколами, лишь бы не признаваться себе, что в тридцать лет я боюсь довериться человеку больше, чем боюсь провала эксперимента.

Мы стоим в тишине, и эта тишина не похожа на вчерашнюю, неловкую. Она спокойная, будто между нами впервые за всё время нет ни сарказма, ни позы, только два человека, которые слишком долго держали оборону и вдруг устали её держать.

Потом Ник вдруг хлопает себя по лбу.

— Вы же не завтракали, — говорит он, и это звучит как обвинение. — Стакан кофе на террасе не считается.

— Я была слишком занята, разглядывая вас, археолог, — отвечаю я, и это почти правда, хотя говорю я это легко, чтобы развеять то, что только что было между нами.

— Тогда поехали, я знаю место, где готовят кушари так, что вы забудете обо всем.

* * *

В маленьком ресторанчике без вывески, куда он меня привозит, пахнет чесноком и жареным луком, а Ник, заказывая, что-то шутливо препирается с хозяином на ломаном арабском, и тот хохочет, хлопая его по плечу, как старого друга. Ник пододвигает ко мне тарелку, учит, в каком порядке пробовать соусы, смеётся над моим лицом, когда я откусываю слишком острый перец, и впервые за долгое время мне легко настолько, что я забываю следить за собой — как будто я не в чужой стране с малознакомым мужчиной, а дома, где меня давно знают и давно простили все мои странности.

* * *

Машина петляет по узким улочкам, и в окне мелькают выцветшие вывески, ослики с тюками, мальчишки, бегущие за нами наперегонки с клаксоном. Ник молчит, сидя со мной рядом в такси на заднем сиденье. И я молчу тоже, но в голове у меня всё ещё звучит его голос — то, как он сказал «я устал быть тем, кто всегда в порядке». Не сами слова. Интонация. Та едва заметная трещина в ней, будто он произнёс фразу, которую репетировал про себя годами, но вслух позволил себе впервые.

Я смотрю на его профиль и ловлю себя на том, что перечисляю. Как он щурится, когда солнце бьёт сбоку, — не морщась, а будто оценивая свет, как археолог оценивает находку. Как указательный палец время от времени касается манжеты рубашки, поправляя её — и это происходит именно тогда, когда разговор сворачивает туда, куда он не планировал. Я заметила это у раскопок. Заметила снова в ресторанчике, когда хозяин назвал его «сынок» на арабском, и что-то дрогнуло в лице Ника, прежде чем он рассмеялся.

Это слишком много деталей для человека, которого я знаю от силы полтора дня.

Я вжимаюсь в сиденье и смотрю в окно, на пыльную листву пальм, убеждая себя, что ничего страшного в наблюдательности нет, это профессиональная привычка, я генетик, я считываю паттерны, это моя работа. Но внутренний голос, что два года молчал, вдруг произносит очень тихо и очень ясно: именно так ты собирала его. По крупицам. Привычки, взгляды, то, как он смеялся, когда был не на людях. И когда собрала — поверила, что знаешь человека целиком, а знала только то, что он сам решил тебе показать.

Я зажмуриваюсь на секунду, будто это может стереть сравнение.

Это не то же самое, говорю я себе. Это просто интересный человек. Специалист по своему делу, со своей историей, я бы так же разглядывала любого, кто неожиданно оказался глубже, чем ожидала. Чистое научное любопытство.

Я не верю себе ни на грамм, и это пугает больше всего.

— О чём вы думаете? — голос Ника разрезает тишину, и я вздрагиваю, будто меня поймали за чем-то неприличным.

Он смотрит на меня краем глаза, и в уголках губ прячется та самая полуулыбка, от которой у меня внутри всё сжимается.

— Устала, — говорю я, и это почти не ложь. — Перелёт, жара, пирамиды. У меня, кажется, голова всё ещё где-то над Атлантикой.

Он кивает, но смотрит чуть дольше, чем мне бы хотелось, будто не совсем верит, и от этого взгляда по коже пробегает тепло, которое не имеет никакого отношения к каирскому солнцу.

— Тогда вот что, — говорит он, машина поворачивает на набережную, где Нил блестит медью в предзакатном свете. — Сегодня никаких ресторанов с толпой и Джоном, который обязательно спросит вас про ДНК, чтобы произвести впечатление.

— Он не настолько прозрачен, — говорю я, хотя знаю, что настолько.

— Он прозрачен, как стакан воды, — отвечает Ник сухо. — Тем более они застряли в офисе с документами. — Ник смотрит на часы, — Я закажу ужин на террасу вашего номера. Вино, звёзды, и чтобы никто не лез с вопросами про генную терапию за десертом.

Я смотрю на него, и сердце делает что-то неровное, глупое, совсем не подобающее тридцатилетней женщине с докторской степенью.

— Звучит как свидание, — говорю я, стараясь, чтобы голос прозвучал легко.

— Это не свидание, — отвечает он слишком быстро, слишком резко, и тут же, будто спохватившись, добавляет мягче: — Просто ужин. Чтобы вы не падали от голода у меня на раскопках завтра. Я планирую вам их показать, если вы не против.

Он снова смотрит на дорогу, и профиль его на мгновение становится совершенно непроницаемым, той самой бронёй, о которой он говорил сегодня утром. Но я уже видела, что под ней. И теперь, как бы я ни убеждала себя в обратном, назад дороги нет — я буду замечать каждую деталь, каждую трещину в этой броне, и бояться этого буду ровно так же сильно, как хотеть увидеть ещё.

* * *

Я немного отдохнула, приняла душ и надела легкое хлопковое платье, зеленое под цвет глаз, в ожидание ужина.

Официант ставит на стол последнюю тарелку — что-то с мятой и кедровыми орешками, название которого Ник произносит так небрежно, будто знает его с детства, — и уходит, оставляя нас одних с бутылкой вина и целым Нилом, разложенным перед нами, точно карта.

Я кладу вилку и просто смотрю, как внизу скользят редкие огни лодок.

— Ты не представляешь, — говорит Ник, разливая вино, — что устроила Сара в прошлом сезоне. Нашли камеру, целую, нетронутую, думали — открытие века. Она так разволновалась, что спустилась внутрь раньше, чем закрепили растяжки. Застряла. В буквальном смысле. Мы час её вытаскивали, а она всё это время читала нам лекцию про то, что мы нарушаем технику безопасности.

Я смеюсь так, что приходится прикрыть рот ладонью, и вино едва не выплёскивается из бокала.

— А камера?

— Оказалась пустой кладовкой. Для зерна, судя по всему. Мы две недели её не трогали ради кладовки.

— Звучит как метафора всей моей карьеры, — говорю я, всё ещё улыбаясь. — Семь лет ищешь прорыв, а находишь кладовку.

— С той разницей, — он смотрит на меня поверх бокала, — что ваша кладовка может спасти жизни. Моя годится разве что на анекдот за ужином.

Я забываю на секунду, что собиралась держать дистанцию, следить за собой, помнить все те предупреждения, которые твердила себе весь день. Здесь, на террасе, под чужими южными звёздами, это почему-то совсем не трудно — забыть.

Ник поднимается, подходит к перилам, где на треноге стоит телескоп.

— Идите сюда, — зовёт он. — Пока облака не затянули.

Я встаю, босыми ступнями ощущая ещё тёплый от дневного солнца камень террасы, и подхожу. Ник наклоняется к окуляру, что-то подкручивает, потом отступает, пропуская меня.

— Смотрите левее. Три звезды в ряд — это пояс Ориона. А чуть ниже, если повезёт, разглядите туманность.

Я прижимаюсь глазом к окуляру и вижу размытое пятно света, которое, стоит вглядеться, превращается в облако — настоящее, космическое, висящее в черноте, как дыхание, застывшее на морозе.

— Красиво, — выдыхаю я, не отрываясь.

— Это звёзды умирают, — говорит он тихо, стоя где-то совсем рядом, я слышу его голос у самого уха. — Туманность — это то, что остаётся. Облако газа и пыли после взрыва. А потом из этой пыли рождаются новые звёзды.

— Поэтично для археолога.

— Я копаюсь в мёртвых городах, Мэри. Поэзия у меня профессиональная.

Он поправляет мне фокус, его пальцы ложатся поверх моих на холодном металле трубы, и я собираюсь отстраниться, уступить место, сказать что-нибудь лёгкое — но его ладонь остаётся. Тёплая, большая, она накрывает мою руку целиком, не сжимая, просто лежит, и этого оказывается достаточно, чтобы весь воздух на террасе вдруг стал гуще, будто перед грозой.

Я не убираю руку.

Секунда растягивается — одна, вторая, — и я чувствую, как под его ладонью бьётся мой собственный пульс, предательски частый, и мне кажется, он тоже это чувствует. Ни он, ни я не произносим ни слова. Где-то внизу гудит моторка, доносится обрывок арабской песни с соседней лодки, а здесь, наверху, время будто остановилось и держит нас обоих за запястье.

Я поднимаю голову и встречаюсь с ним взглядом в темноте, и в его глазах — то самое, что я весь день пыталась не замечать, то, что заставляло меня собирать его по крупицам, как улики.

Ник отводит взгляд первым.

— Орион, — говорит он слишком бодро, убирая руку и отступая на шаг, — в греческих мифах был охотником. Хвастался, что перебьёт всех зверей на земле. Боги в итоге его убили из за тщеславия.

— Какая назидательная история, — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя кожа там, где была его ладонь, всё ещё горит.

— У меня таких много, — отвечает он, забирая бокалы со стола. — Профессиональная деформация.

Мы ещё немного говорим о пустяках, о завтрашнем выезде к раскопкам, но что-то между нами уже сдвинулось, как песок под ногами, и оба мы делаем вид, что не замечаем этого сдвига. Когда Ник наконец желает мне спокойной ночи у двери и уходит по коридору к своему номеру, я ещё долго стою на пороге, слушая, как затихают его шаги.

Ложась на прохладные простыни, я смотрю в потолок и понимаю: притворяться, что мне всё равно, больше не получается. Кожа до сих пор помнит тепло его руки, и это тепло не собирается никуда уходить — оно устроилось у меня под рёбрами, как у себя дома, и я не знаю, хочу ли я его оттуда выгонять.

Глава 8. Забота без слов

Я выхожу из номера ровно в восемь утра, как договорились и Мэри уже ждёт в коридоре. Платье у неё голубое, лёгкое, выше колен, спина открыта почти до поясницы, и на мгновение я забываю, куда мы вообще собрались

Мы выходим на улицу и я замечаю что через ткань ее платья, прорисовывается то, что совершенно точно не предназначено для моих глаз на раскопках в компании ещё двух человек. Я быстро отвожу взгляд, но он возвращается сам, против воли, как стрелка компаса, которая упрямо ищет север.

— Как спалось? — говорю я, открывая ей дверцу, и голос у меня звучит ровнее, чем всё остальное во мне.

— Очень сладко, — она садится, одёргивает подол, и я иду вокруг машины, проговаривая себе под нос что-то вроде «температура плюс тридцать два, песчаная буря ожидается после обеда», лишь бы занять голову чем-то, кроме линии её ключицы.

Всю дорогу до площадки я говорю о пустяках. О том что это одна из наших арендованных рабочих машин, о том, что сегодня разберут верхний слой кладки в северном секторе, что археология — девяносто процентов терпения и десять процентов находок, что воду нужно пить каждые двадцать минут, иначе здесь можно свариться заживо. Мэри слушает, кивает, иногда вставляет вопрос, и каждый раз, когда она поворачивается ко мне, я смотрю строго на дорогу, будто там творится что-то невероятно важное.

На площадке нас уже встречает Джон, с лопатой в одной руке и совершенно неприличной для археолога улыбкой на лице.

— А вот и наша генетическая сенсация! — объявляет он, беря Мэри под локоть прежде, чем я успеваю хотя бы выйти из машины полностью. — Идёмте, покажу вам кое-что, от чего у вас волосы встанут дыбом. В хорошем смысле.

Он тащит её к раскопу, рассказывает про черепки, про обломок печати с иероглифом, которому три тысячи лет, рассыпает шутки одну за другой, и Мэри смеётся — искренне, запрокинув голову, и я стою в стороне с планшетом в руках и вдруг понимаю, что сжимаю его так, что костяшки побелели.

— Ты так и будешь дырку в затылке Джона взглядом сверлить? — рядом появляется Сара, в своей неизменной бандане, с лопаткой за поясом, и смотрит на меня с тем выражением, которое у неё обычно предшествует неприятному комментарию.

— Я смотрю на планы раскопок, — отвечаю я, не поднимая глаз от бумаги, которую не читаю уже минуту.

— Ну конечно. Планы раскопок у тебя теперь говорят и смеются голосом доктора Старк.

— Сара.

— Что — Сара? — она пожимает плечами, облокачивается на борт тачки с грунтом. — Ты так просто сдашься, Ник? Учись доверять женщинам, вообще-то. Мэри не похожа на суку, которая сбежит с первым смазливым режиссёром в Нью-Йорк.

Я бросаю на неё взгляд, достаточно тяжёлый, чтобы она хотя бы на секунду изобразила раскаяние, но она лишь ухмыляется и отходит к раскопу, насвистывая непонятное.

Я заставляю себя вернуться к плану сектора, веду пальцем по линиям, которые нарисовал три дня назад, и говорю себе, что мне всё равно, абсолютно всё равно, пусть Джон хоть жениться её зовёт прямо здесь, среди обломков глиняной посуды. Но ложь настолько очевидна даже для меня самого, что я откладываю планшет и просто стою, глядя на пыльный горизонт, где марево дрожит над песком.

И где-то под этим раздражением, глубже, прячется другое — почти облегчение. Пока Джон держит её внимание, мне не нужно встречаться с ней взглядом. Не нужно вспоминать,

как её рука лежала под моей ладонью вчера на террасе, как замерло всё внутри, когда она не отстранилась. Пусть лучше смеётся над шутками Джона о черепках, чем смотрит на меня так, как смотрела вчера в темноте, будто видела что-то, что я сам в себе ещё не разглядел.

— Ник! — зовёт она, оборачиваясь от раскопа, волосы выбиваются из небрежного узла, лицо светится настоящим, незаёмным восторгом. — Иди сюда, посмотри, что нашёл Джон!

Я поднимаю взгляд — и тут же отвожу его, будто обжёгся, делая вид, что меня куда больше интересует грузовик с инструментами, въезжающий на площадку.

— Через минуту, — бросаю я, зная, что вру и ей, и себе, и что минута, скорее всего, растянется на весь оставшийся день.

* * *

Музей встречает нас прохладой после уличного пекла, и я на секунду благодарен хотя бы за это: кондиционер даёт повод вдохнуть ровно, без того комка, что застрял в груди с самого раскопа.

Джон, разумеется, не умеет вести себя как взрослый дольше пяти минут. Едва мы проходим мимо саркофага с потемневшим от времени лицом на крышке, он замирает, медленно разворачивается, вытягивает руки вперёд и издаёт низкий утробный стон.

— Три тысячи лет ждал, чтобы сказать тебе… — тянет он замогильным голосом, глядя на Мэри, — отойди от моих украшений.

— Джон, — шипит Сара, не оборачиваясь, — веди себя как взрослый человек. Тебе двадцать шесть, а не шесть.

Он её не слушает. Он никогда её не слушает. Мэри смеётся, прикрывая рот ладонью, плечи у неё вздрагивают, и этот смех долетает до меня через весь зал, минуя витрины и охранников, минуя моё твёрдое намерение смотреть исключительно на экспонаты.

Я стою у стенда с золотыми украшениями — браслеты, подвески, что-то с бирюзой, подписано мелким шрифтом, который я даже не пытаюсь читать, — и делаю вид, что меня чрезвычайно занимает техника литья четыре тысячелетия назад. На самом деле я считаю шаги между собой и ними. Джон уже показывает ей какую-то статуэтку, что-то объясняет, размахивая руками, Мэри кивает, задаёт вопрос, он отвечает длинно и явно привирает для эффекта, потому что Сара за его спиной закатывает глаза с такой силой, что рискует вывихнуть их.

— Это невероятно, — говорит Мэри, и в голосе у неё та искренняя жадность к новому, которую я уже успел полюбить и теперь ненавижу за то, что она достаётся не мне.

Я перевожу взгляд обратно на витрину. Подвеска в форме скарабея, неотличимая от той, что я подарил ей вчера, только крупнее и без моей, в общем-то, глупой сентиментальности внутри. Я смотрю на неё дольше, чем она того заслуживает.

— Ты так и будешь весь музей простоять у золота, как жених у алтаря? — голос Сары возникает сбоку неожиданно, и я вздрагиваю, прежде чем успеваю взять себя в руки.

— Это жестоко. Я изучаю экспонат.

— Ты изучаешь затылок доктора Старк уже двадцать минут.

Прежде чем я успеваю ответить что-нибудь колкое, Мэри сама подходит, оставив Джона позади разглядывать очередную мумию с таким видом, будто он всерьёз собирается её разбудить. Волосы у неё всё ещё немного растрёпаны после раскопа, на щеке полоска пыли, которую она явно не заметила, и от этого мне хочется протянуть руку и стереть её большим пальцем, но я, конечно, этого не делаю.

— Ник, — она указывает на стелу за стеклом, покрытую рядами иероглифов, — что здесь написано? Ты же должен знать.

Вопрос простой, безобидный, задан с той самой открытой доверчивостью, которая весь день меня медленно убивает. И вместо того чтобы ответить нормально, я слышу собственный голос, суше, чем планировал, почти колючий:

— Это не моя специализация. Я занимаюсь погребениями, а не египетской письменностью. Спроси Джона, он у нас сегодня, похоже, главный специалист по всему.

Она моргает. Улыбка на секунду гаснет, не полностью, но достаточно, чтобы я сам почувствовал, как во рту становится горько.

— Ладно, — говорит она тихо, с лёгким удивлением в голосе, которое ранит больше любого упрёка. — Извини, я не знала.

— Не извиняйся, Мэри, — я тру переносицу, пытаясь выгрести себя обратно из той ямы, которую сам же вырыл. — Просто у меня плохой день для экскурсий по чужим цивилизациям.

— А по своей будет хороший? — она склоняет голову, и в глазах у неё мелькает что-то похожее на вызов, смешанный с настоящей обидой, которую она тут же прячет за иронией.

— Как получится, — отвечаю я, и в этот раз мне удаётся выдавить что-то похожее на улыбку, хотя внутри по-прежнему всё стянуто узлом. — Пойдём, Джон наверняка уже разбудил там кого-нибудь по-настоящему.

Она ещё секунду смотрит на меня, будто хочет сказать что-то ещё, но передумывает и просто кивает, отворачиваясь к залу. Я иду следом, на полшага позади, и всю дорогу злюсь на себя за эту резкость, которая вырвалась из места, названия которому я пока не готов дать даже наедине с собой. Злюсь на Джона, за то что он такой молодой и обаятельный со своими карими глазами, как у кота из Шрека и светлой копной волос, как у подростка.

* * *

Ресторан у Нила выбирает Джон, разумеется, и, разумеется, тот, где официантки знают его по имени, а меню состоит в основном из описаний того, какую рыбу поймали сегодня утром. Мы сидим на террасе, вода блестит внизу коричневым золотом, и Джон уже в третий раз пересказывает историю про то, как в прошлом сезоне провалился по пояс в яму с погребальным инвентарём и чуть не утопил камеру в три тысячи долларов.

— А потом, — говорит он, разводя руками так, что чуть не сбивает графин с водой, — выясняется, что это вообще не яма, а колодец времён Птолемеев. То есть я рухнул в историю в буквальном смысле.

Сара закатывает глаза с таким отработанным мастерством, что я подозреваю, она делает это упражнение каждый день специально для поддержания формы.

— Ты рассказываешь это в третий раз за месяц, Джон. В следующий раз добавь дракона.

— Мэри — то не слышала. Дракона не было. Был только я и очень злой начальник экспедиции.

Он кивает в мою сторону с ухмылкой, и я выдавливаю из себя короткий смешок, потому что того требует приличие, а не потому что мне действительно смешно. Внимание моё давно уже не здесь, не в истории про колодец, а в том, как Мэри слушает, облокотившись на руку, улыбается ровно настолько, насколько нужно, чтобы не показаться невежливой.

И вот тогда я замечаю это.

Сначала — короткое движение пальцев к переносице, незаметное, которое она тут же прячет, будто просто поправляет очки, которых на ней нет. Потом голос, за обедом ставший чуть ниже обычного, с хрипотцой на вдохе, которую можно списать на сухой воздух, если не знать, как он звучал вчера вечером, когда она рассказывала мне про геномы у телескопа. И наконец то, что заставляет меня отложить вилку: она второй раз за десять минут спрашивает Джона, в котором часу выезд завтра, хотя он уже дважды ответил.

Джон, кажется, не замечает. Сара тоже занята тем, что пытается отнять у него лепёшку, которую он макает в чужой соус. А я смотрю на Мэри и вижу усталость, настоящую, ту, что приходит не от жары и не от долгого дня на раскопках, а от десяти часов разницы во времени, которые организм ещё не простил.

— Джетлаг, — произношу я вслух, но тихо, обращаясь будто сам к себе, и она вскидывает на меня глаза.

— Прости, что?

— Ничего. Ешь.

Она слабо улыбается и возвращается к тарелке, а я мысленно перематываю вчерашний ужин на балконе, когда она, говорила что всё это прекрасно, конечно, кушари и лепешки, но что по-настоящему она скучает, по сочному бургеру и картошке фри. Тогда я кивнул и забыл, или сделал вид, что забыл, потому что вслух говорить о том, что я запоминаю каждую ерунду, которую она произносит, мне казалось опасным ещё вчера.

Сегодня опасность уже не кажется такой важной.

Пока Джон и Сара сцепляются из-за завтрашнего маршрута, кто-то настаивает на раннем выезде к восточному участку, кто-то клянётся, что там нечего делать до обеда, я достаю телефон под столом и быстро набираю сообщение консьержу отеля. Прошу организовать ужин на террасе ресторана отеля на двоих, негромкий, без суеты, и если получится, приготовить американский бургер и картошку фри. Еще прошу плед, тёплый, на случай, если вечером с реки потянет прохладой. Отправляю, убираю телефон, и никто за столом даже не замечает, что я на секунду выпал из разговора.

Мэри тем временем снова через силу улыбается очередной шутке Джона, про то, что мумия фараона сегодня в музее выглядела свежее его самого после отпуска, и смех у неё выходит немного запоздалым, будто она сначала додумывает фразу, а потом уже реагирует. Усталость красит её мягче, чем могла бы. Без той настороженной собранности, с которой она держится весь день, без того полного контроля, которым она прикрывается точно так же, как я прикрываюсь сарказмом.

Я жду, что опять почувствую укол раздражения на Джона, но вместо этого внутри разливается что-то куда более простое и куда более опасное: нежность, ничем не замаскированная, без единой колкой мысли впереди неё. Мне хочется забрать её отсюда прямо сейчас, подальше от шума и чужих историй, и просто дать ей тишину, в которой можно закрыть глаза без необходимости держать лицо.

Пока это желание остаётся моим собственным, непроизнесённым, я подзываю официанта и прошу счёт.

Мы едем в отель и Мэри удаляется в свой номер, отдохнуть до ужина.

* * *

Терраса встречает нас тишиной и запахом жареного розмарина, и я вижу, как Мэри замирает в дверях, будто не сразу понимает, что это накрыто для нас. Стол маленький, на двоих, свечи в стеклянных плафонах не дают дыму, скатерть белая, а над Нилом висит та особая вечерняя дымка, которая превращает закат в акварель.

— Мы опять вдвоём? Я так привыкну, — Мэри улыбается одним уголком рта и я отодвигаю для нее стул. — Это что, — говорит она, и я слышу, как голос у неё садится от удивления, а не от усталости, — бургер и картошка фри?

— Говорят, их здесь делают неплохо

— И салат с орехами и грушей. И это же… — она наклоняется к бокалу, принюхивается почти машинально, — рислинг?

— Если консьерж не напутал.

Она смотрит на меня так, будто пытается разобрать шифр, а не меню, и я чувствую себя неуютно под этим взглядом, потому что он слишком пристальный, слишком благодарный для того, что я всего лишь отправил сообщение за обедом.

— Ник, я упомянула это вскользь. Один раз.

— У меня хорошая память на мелочи. Профессиональная деформация, знаешь ли, я же всю жизнь ищу то, что другие не замечают.

— Это ты сейчас сравнил мой любимый ужин с черепком три тысячи лет от роду?

— Сравнил твой вкус к вину с черепком. Вино выдержанное, а не три тысячи лет, но по сути ты права, я археолог, я ничего не умею делать просто так.

Она смеётся, и в этом смехе уже меньше вчерашней настороженности, а я стараясь не смотреть слишком долго на то, как платье на спине открывает полоску кожи там, где заканчивается загар от каирского солнца. Весь день я старательно не смотрел туда же, и весь день проигрывал.

Мы ужинаем, разговор идёт легко, она рассказывает про музей, про то, как ей понравилась надпись на стеле, которую я объяснил суше, чем следовало, и я вижу, что обиды не осталось, усталость просто съела всё лишнее, оставив только самое важное. С реки тянет прохладой раньше, чем я ожидал, и когда она обхватывает плечи руками, я встаю, не говоря ни слова, и приношу плед, который заранее попросил оставить на кресле у двери.

Накидываю на неё осторожно, стараясь не задеть волосы, но руки задерживаются на её плечах чуть подольше, чем я планировал. Под пальцами тепло её кожи сквозь тонкий хлопок, и я понимаю, что должен отпустить прямо сейчас, пока это не превратилось в жест, который невозможно будет объяснить шуткой.

— Спасибо, — говорит она тихо, не оборачиваясь, и в этом коротком слове звучит что-то, что заставляет меня медленнее убрать руки.

— Холодно тут вечерами. Из-за реки.

Я сажусь обратно, наливаю вино, ищу привычную фразу, которая вернула бы разговор в безопасное русло сарказма, но ничего не приходит, и пауза затягивается ровно настолько, чтобы Мэри это заметила.

— Ты весь день отводил глаза, — говорит она вдруг, глядя в бокал, а не на меня. — За обедом, в музее. Я думала, я что-то сделала не так.

— Ты ничего не делала не так.

— А что тогда?

Я мог бы отшутиться, сказать что-то про усталость или про раскопки, но вместо этого просто молчу, и молчание выходит честнее любой остроты, которую я мог бы придумать.

— Просто день такой, — говорю наконец, и сам слышу, как неловко это звучит, без привычной лёгкости, без того тона, которым я обычно прикрываюсь.

Мэри поднимает на меня глаза, и в этом взгляде нет насмешки, только что-то мягкое и внимательное, будто она впервые видит меня без костюма, в котором я хожу перед всеми остальными. Она отпивает вино и ест салат. С бургером и картошкой справилась быстрее.

— Спасибо за ужин, — говорит она снова, тише прежнего, — и за плед. Правда.

Я не глядя на неё пожимаю плечами, будто это пустяк, хотя пустяком это не было ни секунды, с той минуты, как я написал консьержу.

— Ты не иронизируешь, — говорит она, и это звучит почти как вопрос.

— Не сегодня.

Она улыбается, и в этой улыбке что-то такое, от чего мне становится труднее дышать, чем от всей египетской жары за день, и я тянусь к своему бокалу только для того, чтобы занять руки, пока не натворил ещё какой-нибудь глупости, вроде правды вслух.

* * *

Вино в бокале приобретает цвет меди от фонарей на набережной, и я верчу его в пальцах, потому что руки требуют занятия, когда язык собирается сказать то, чего я не говорю никому.

— В Гватемале есть место, — начинаю я, глядя не на Мэри, а на точку где-то за её плечом, на реке, — которое я ищу почти шесть лет. Гробница одного царя, о котором почти ничего не известно, кроме имени на камне, разбитом на три куска. Если я прав насчёт того, где она лежит, это будет крупнейшая находка со времён Паленке.

— А если ты не прав?

— Тогда я потрачу ещё одно состояние на то, чтобы доказать себе, что буду прав где-то в другом месте.

Она улыбается, но не так, как улыбалась Джону весь день, широко и легко, а иначе, внимательно, будто ждёт продолжения, которое важнее шутки.

— Если раскопки получатся, — говорю я и сам слышу, как меняется голос, теряет привычную броню, — мне больше не нужно будет лезть в землю самому. Я смогу просто финансировать экспедиции, сидеть в кабинете и подписывать чеки для людей вроде тебя.

— Вроде меня?

— Учёных, у которых есть идея, но нет денег её довести до конца. Я видел, как твой фонд закрывает половину бюджета на секвенирование. Это не щедрость, Мэри, это инвестиция, но возврат от неё не только в деньгах.

Я замолкаю, потому что фраза вышла честнее, чем планировал, и в наступившей тишине слышно, как где-то внизу у причала плещет вода о борт фелуки. Мне стоило остановиться там, но я продолжаю, и это пугает меня больше, чем всё, что случилось на террасе вчера у телескопа.

— Я никогда не говорил об этом вслух. О том, что будет после раскопок. Обычно я живу от экспедиции до экспедиции, как будто дальше ничего нет, и мне было удобно так думать.

— А теперь?

— А теперь я сижу здесь и рассказываю тебе, какой будет моя жизнь через два года, хотя мы знакомы меньше двух недель.

Я усмехаюсь, пытаясь всё-таки вернуть разговору прежнюю лёгкость, но усмешка выходит кривой, и я вижу, что Мэри это замечает, что она видит меня насквозь так же легко, как видела днём в музее, когда я ответил резче, чем хотел.

Она молчит, опускает взгляд в бокал, потом поднимает его снова, и в этом взгляде смешиваются сразу два выражения, тепло и что-то похожее на испуг, будто она стоит на краю чего-то и не знает, шагнуть или отступить. Я узнаю это чувство, потому что ношу его в себе с того дня, как невеста не пришла в церковь, только у неё, кажется, тоже есть история, которую она ещё не рассказала.

— Звучит как план, — говорит она наконец, стараясь, чтобы голос звучал ровно, но я слышу в нём трещину. — Хороший план.

— Ты не веришь.

— Я верю, что ты в это веришь.

Разница есть, и я её слышу, но не давлю, потому что вижу, как она отворачивается, как её взгляд уходит мимо меня, к огням Каира на другом берегу, к минаретам, подсвеченным снизу, к мосту, по которому ползут фары машин. Она смотрит туда так долго и так сосредоточенно, будто там, среди этого света, можно спрятать лицо.

— Красиво, — говорит она, не оборачиваясь.

Я молчу, не желая портить то немногое, что она мне только что позволила увидеть, трещину в её собственной броне, такую же, как та, что я только что показал ей сам. Плед соскальзывает с её плеча, и я не тянусь поправить его, хотя рука уже наполовину в движении, потому что сейчас не время снова касаться её кожи, когда воздух между нами и так натянут туже, чем следует для простого ужина на двоих.

— Расскажи мне про царя, которого ты ищешь, — говорит она вдруг, всё ещё глядя на огни, и я слышу в этой просьбе не любопытство, а способ уйти в сторону от того, что между нами только что произошло.

Я позволяю ей эту уловку, потому что сам нуждаюсь в ней не меньше.

* * *

Я рассказываю ей про царя так, будто это самая простая вещь на свете — имя, которое не встречается ни в одном известном списке правителей, намёк на титул на обломке стелы, найденном три сезона назад в двадцати километрах от основного раскопа. Голос постепенно

теряет напряжение, которое держал весь день, и становится таким, каким я говорю об этом с коллегами на конференциях, спокойным, увлечённым, своим. Мэри слушает, подперев щёку рукой, и кивает в нужных местах, но я вижу, что она не столько запоминает факты о династии, сколько наблюдает за тем, как я их рассказываю, и от этого мне становится легче дышать.

Разговор иссякает сам собой, без паузы, без неловкости — просто слова заканчиваются, и остаётся только Нил внизу, чёрный, с рассыпанными по нему огнями фелук, и свеча между нами, которая уже не столько горит, сколько тлеет синеватым язычком у самого фитиля. Плед всё ещё держится на плечах Мэри, один край сполз почти до локтя, но она не поправляет, и я тоже не тянусь, хотя рука снова начинает жить своей отдельной жизнью.

Прядь волос выбивается у неё из-за уха и падает на щёку, задевая скулу, и я ловлю себя на том, что уже представляю, какой будет на ощупь эта прядь между пальцами, какой тёплой окажется кожа под ней от свечи и вечернего воздуха. Рука у меня действительно приподнимается на пару сантиметров над столом, прежде чем я успеваю её остановить, и я убираю её обратно, под предлогом того, что мне нужно взять бокал, хотя вино в нём давно нагрелось и мне не хочется пить.

Мэри не замечает этого движения, или делает вид, что не замечает, что в её случае, кажется, одно и то же. Она смотрит на огни на другом берегу, потом снова на меня, и вот тут что-то происходит со временем, оно будто спотыкается и идёт медленнее обычного. Наши взгляды встречаются, и ни один из нас не отводит глаз в ту секунду, когда это было бы естественно сделать, в ту секунду, когда взгляд превращается из случайного в намеренный.

Секунда растягивается во вторую, потом в третью, и я чувствую, как у меня внутри что-то натягивается туже, чем футболка на моих плечах, туже, чем всё, что я позволял себе чувствовать с того дня, когда стоял в костюме перед пустой скамьёй в церкви и слушал, как шепчутся гости. Мэри не улыбается и не хмурится, у неё такое лицо, будто она сама не понимает, что с ним делать, и от этого мне хочется сказать что-то, разбить момент шуткой, спасти нас обоих привычным способом.

Я ничего не говорю.

Слова, которые приходят в голову, все какие-то неправильные, слишком большие для террасы над Нилом на вторую неделю знакомства, и я глотаю их обратно, одно за другим, пока не остаётся только молчание и тёплый воздух, пахнущий воском и рекой. Мэри тоже молчит, и я вижу, как у неё на шее под тонкой цепочкой чуть сбивается дыхание, как будто она задержала его на пару секунд.

Что-то между нами только что перестало быть прежним и мы это оба понимаем, я это чувствую так же ясно, как чувствовал вчера её руку под своей на телескопе, только сейчас ещё яснее, потому что сегодня я говорил вслух вещи, которые обычно держу запертыми крепче, чем гробницу, которую ищу восемь лет. Мэри тоже это чувствует, я вижу это по тому, как у неё дрогнули пальцы на краю пледа, по тому, как она чуть подалась вперёд, едва заметно, и тут же остановила себя, будто одёрнула.

Она первой отводит взгляд, резко, почти виновато, смотрит на свечу, потом на часы на запястье, хотя я готов спорить, что не видит на них ни одной цифры.

— Мне, наверное, пора, — говорит она, и голос выходит чуть быстрее, чем обычно у неё получается, чуть менее ровным. — Завтра рано вставать.

— Конечно, — отвечаю я, и это слово тоже выходит не совсем таким, как я хотел, слишком мягким для человека, который весь вечер старался держать расстояние.

Она встаёт, придерживая плед и смотрит на меня ещё долю секунды, будто хочет сказать что-то ещё, но передумывает.

— Спасибо за ужин, Ник. И за… — она обводит рукой террасу, свечу, реку, не находя точного слова, — за всё это.

— Спокойной ночи, Мэри, — говорю я, и когда она уходит, слишком быстро для человека, который только что никуда не торопился, я остаюсь сидеть один между почти погасшей свечой и ощущением, что я только что едва не сказал что-то, после чего пути назад уже не было бы ни для кого из нас.

Я только позже понял, что не проводил Мэри до номера. Слишком долго приходил в себя.

Глава 9. С тобой и без тебя

Просыпаюсь в четыре с чем-то, за окном ещё совсем темно, и первая мысль — не о экскурсиях, не о Каире, а о том, как Ник смотрел на меня вчера, когда свеча почти догорела. Пытаюсь снова закрыть глаза, зарыться в подушку, уговорить себя, что это просто разница во времени мстит мне за неделю перелётов, но тело не слушается, сердце колотится так, будто я бежала, а не лежала без движения битых двадцать минут.

Переворачиваюсь на другой бок, потом обратно, потом смотрю в потолок, разглядывая тени от уличного фонаря, пробивающегося сквозь неплотно задёрнутые шторы. Сон ушёл окончательно, я это чувствую по той особой ясности в голове, которая бывает только в такие часы, когда весь мир ещё спит, а ты уже нет, и некому напомнить тебе, что нужно вести себя разумно.

Сдаюсь. Тянусь к телефону на тумбочке, звоню в службу обслуживания номеров, прошу кофе — покрепче, пожалуйста, — и голос на том конце звучит удивлённо-вежливо, будто в Каире никто в такую рань кофе не заказывает. Может, и правда никто. Может, только я, со всей своей взбудораженной физиологией и мыслями, которые отказываются выстраиваться в хоть какой-то порядок.

Пока жду, встаю, накидываю тонкий халат поверх пижамы и босиком иду к балконной двери. Плитка под ногами прохладная, почти ледяная после тёплой постели, и это отрезвляет лучше любого кофе. Отодвигаю занавеску, открываю дверь — петли чуть скрипят, — и выхожу на террасу.

Нил в этот час почти не похож на себя дневного, шумного, суетливого. Он чёрный с проблесками серебра там, где на воду падает свет редких фонарей, и тихий, настолько тихий, что слышно, как где-то вдалеке лает собака и перекликаются муэдзины, готовясь к утреннему азану. Воздух пахнет сыростью, тиной и чем-то сладковатым — не то жасмином, не то просто предрассветной прохладой, которая всегда кажется ароматнее дневной жары.

Сажусь в плетёное кресло, поджимаю ноги под себя, кутаюсь в халат и смотрю на воду, а в голове крутится одно и то же — его взгляд. Не слова, которые он говорил весь вечер — про гробницу, про инвестиции, про усталость быть человеком, у которого якобы всё в порядке, — а именно взгляд в самом конце, когда свеча почти погасла и он просто молчал, глядя на меня так, будто решал что-то важное и никак не мог решить.

Я тоже молчала. Господи, что я творю.

Костяшками пальцев тру лоб, будто это поможет вытереть из памяти то ощущение, с которым я уходила с террасы — слишком быстро, почти бегом, как будто за мной гнались. А гналась, по сути, только собственная паника, тот знакомый холодок под рёбрами, который появляется у меня всякий раз, когда что-то начинает значить больше, чем положено значить на второй неделе знакомства.

Со мной никогда не было так. Даже с Дэвидом, в самом начале, в те месяцы, когда я ещё верила, что мы строим что-то настоящее, не было этого ощущения, будто земля чуть смещается под ногами каждый раз, когда он входит в комнату. С Дэвидом было спокойно, удобно, предсказуемо, и я только теперь, сидя в холодном кресле над чужой рекой, понимаю, что спокойствие и удобство — это совсем не то же самое, что вот это, незнакомое, пугающее чувство, когда кто-то смотрит на тебя и ты забываешь, как дышать.

В дверь тихо стучат — приносят кофе. Благодарю мальчика по-английски, даю чаевые, забираю поднос и снова выхожу на террасу, ставлю чашку на низкий столик рядом с креслом. Пар поднимается в прохладном воздухе тонкой струйкой, и я смотрю, как он тает, думая о том, что примерно так же, наверное, тает моя способность держать дистанцию с человеком, который вчера признался мне, что чувствует себя гостем в собственной жизни.

Земля уходит из-под ног в самом буквальном смысле этого слова, и это пугает сильнее, чем я готова признать даже самой себе. Я привыкла держать всё под контролем — реакции, эмоции, собственное сердце, которое однажды уже позволило себе довериться не тому человеку и получило за это сполна. А сейчас сижу здесь, в чужом городе, в четыре утра, и чувствую, что контроль куда-то испаряется вместе с паром над чашкой кофе, и мне одновременно и страшно, и, что хуже всего, совсем не хочется его возвращать.

Небо на востоке начинает едва заметно сереть, будто кто-то невидимой рукой стирает черноту ластиком, и я понимаю, что через час-другой весь отель проснётся, Ник выйдет к завтраку в своей привычной сдержанной манере, будто вчерашнего вечера не было, и мне снова придётся делать вид, что я тоже в порядке. А я не в порядке. Я совсем не в порядке, и чем дольше сижу здесь одна, тем яснее понимаю, что мне нужен кто-то, кто скажет это вслух вместо меня, пока я ещё способна произнести это сама себе.

Беру телефон, смотрю на разницу во времени — в Сиэтле сейчас где-то около семи вечера, Мел наверняка уже дома, может, ещё на работе, но точно не спит. Пальцы сами набирают номер, прежде чем голова успевает придумать причину этого не делать.

Гудки тянутся долго, и я уже почти готова сбросить, когда в трубке раздаётся знакомое, чуть хрипловатое со сна или усталости:

— Мэри? Ты там жива вообще?

Голос Мел звучит так обыденно, так по-домашнему, что у меня неожиданно щиплет в глазах, и я понимаю, насколько соскучилась не по дому даже, а вот по этому — по возможности сказать что-то вслух человеку, который не будет искать в моих словах скрытый смысл или строить теории.

— Жива, — говорю я, и голос предательски дрожит на этом одном коротком слове. — Мел, я не знаю, что мне делать.

Отпиваю кофе, отодвигаю чашку подальше, чтобы не опрокинуть, подтягиваю колени к груди, и небо над Нилом медленно светлеет, становится из чёрного желто-красным, будто сама природа готовится выслушать то, что я собираюсь сказать, прежде чем выпустить меня навстречу новому дню.

* * *

— Мел, я в растерянности, — говорю я, не дожидаясь, пока она успеет спросить что-то ещё. — Вообще. Полностью.

На том конце провода слышен шорох, будто Мел перекладывает телефон в другую руку, устраивается удобнее, готовится слушать.

— Так, начинай с начала, — говорит она тем самым тоном, которым обычно разбирает наши эксперименты, когда что-то идёт не по протоколу. — Что случилось. Только по порядку, пожалуйста, без твоего «я не знаю с чего начать».

Я смотрю на светлеющую полосу над Нилом и правда не знаю, с чего начать, но всё равно начинаю, потому что молчать уже невозможно.

— Вчера вечером. Мы сидели на террасе, он принёс плед, потому что я замёрзла, хотя я даже не жаловалась, просто поёжилась один раз. И укрыл меня сам, понимаешь, не подал плед, а укрыл, подоткнул с боков, как будто я ребенок. И он вдруг начал говорить про будущее. Про то, что когда-нибудь перестанет копать сам, будет только финансировать экспедиции. Таким учёным, как я, сказал он.

— Таким учёным, как ты, — повторяет Мел с едва уловимой улыбкой в голосе. — Это он тонко намекнул, что видит в своём будущем конкретную учёную, или мне кажется?

— В том-то и дело, что я не знаю, намекал он или нет. Может, это просто мысли вслух. Мне кажется он вообще не из тех, кто говорит о будущем, Мел, он весь вечер до этого рассказывал, что чувствует себя гостем в собственной квартире на восьмидесятом этаже. А тут вдруг — планы, причём такие, в которых есть место кому-то ещё.

Я замолкаю, прижимаю телефон плечом к уху и обхватываю чашку кофе обеими руками, хотя она уже почти остыла. Пар больше не поднимается, только тонкая дымка держится над поверхностью, будто нехотя.

— И что тебя пугает? — спрашивает Мел осторожно, без нажима, но я слышу в этом вопросе настоящий интерес, а не просто дежурную реплику.

— Пугает то, что мне это нравится, пугает что я примеряю его слова на себя, хотя не должна— говорю я, и слова выходят быстрее, чем я успеваю их обдумать. — Пугает, что я лежала потом в своей комнате и не могла уснуть, думала только про то, как он на меня посмотрел, когда накрывал этим пледом. Будто я не случайный попутчик в этой поездке, а что-то важное. И знаешь, что самое страшное, Мел? Мне кажется, дело вообще не в дружбе.

— А в чём?

Я делаю паузу, подбираю слова, потому что это нужно сказать правильно, не размазать в невнятное бормотание, а произнести так, как оно есть на самом деле.

— Химия, Мел. Настоящая, на уровне подсознания, такая, которую невозможно объяснить разумом. Мы вроде бы просто разговариваем, просто смотрим вместе на звёзды, ничего такого, а я чувствую это всем телом, будто воздух между нами наэлектризован. Мне ни с кем не было так хорошо. Вообще ни с кем, даже с Дэвидом в самом начале, когда казалось, что это навсегда.

Произнести имя Дэвида вслух оказывается неожиданно легко, будто оно давно перестало резать, осталось просто частью прошлого, факт, а не рана. И эта лёгкость пугает меня почти так же сильно, как мысли про Ника, потому что я не помню, когда именно это случилось, в какой момент боль перестала быть главной.

— Ого, — тихо говорит Мел, и в этом одном слове умещается целая гамма эмоций: удивление, радость за меня, лёгкая тревога. — Мэри, это же хорошо. Почему ты говоришь об этом так, будто случилась катастрофа?

— Потому что я не знаю, что с этим делать! — почти кричу я и тут же осекаюсь, оглядываюсь на закрытую дверь террасы, хотя знаю, что никто меня не слышит в такую рань. — Мы через несколько дней летим обратно каждый в свой город. У него Чикаго, у меня Сиэтл, у него раскопки, у меня лаборатория, у него квартира на восьмидесятом этаже с видом на озеро, у меня плавучий домик, который качается при каждом шторме. И потом эта его бывшая невеста, которая бросила его у алтаря, я же вижу, какой у него делается взгляд, когда разговор заходит рядом с этой темой, будто он до сих пор проверяет, не обманут ли его снова. А у меня своя история с Дэвидом, и я тоже не самый смелый человек на свете, когда дело доходит до доверия.

Я перевожу дыхание и вдруг понимаю, что говорю слишком быстро, слишком много, будто если остановлюсь хотя бы на секунду, вся эта конструкция рассыплется и обнажит что-то, с чем я пока не готова встретиться.

— Мэри, — говорит Мел спокойно, и в этом спокойствии чувствуется что-то очень надёжное, будто она держит меня за руку через тысячи километров. — Ты сейчас пытаешься решить проблему, которой ещё даже не существует. Вы оба в Каире, под одним небом, рядом друг с другом, а ты уже мысленно разводишь вас по разным городам и строишь график, по которому у вас ничего не получится.

— Но ведь так оно и будет! Расстояние, работа, его прошлое, моё прошлое…

— Так будет, если ты сейчас сбежишь, — перебивает меня Мел мягко, но твёрдо. — А если не сбежишь? Если просто позволишь себе прожить эти оставшиеся дни, не просчитывая всё на пять шагов вперёд? Мэри, ты всю жизнь всё просчитываешь. Каждую реакцию, каждый эксперимент, каждую возможную ошибку. Может, именно сейчас стоит попробовать жить здесь и сейчас, без таблицы вероятностей.

Я молчу, смотрю на небо, которое уже окрасилось в мягкий розовато- серый, похожий на внутреннюю сторону ракушки, и чувствую, как слова Мел оседают во мне, но не успокаивают,

а скорее добавляют ещё один слой тревоги, потому что жить здесь и сейчас — это именно то, чего я не умею делать, и именно то, чего я боюсь больше всего.

— А если я позволю себе это, а потом окажется, что всё закончится так же, как с Дэвидом? — спрашиваю я тихо, и голос предательски садится.

— А если не закончится? — отвечает Мел вопросом на вопрос, и в её голосе слышится та же мягкость, с какой она разговаривает со своими пробирками, когда боится спугнуть хрупкую реакцию. — Мэри, ты не обязана сейчас решать, выйдешь ли ты за него замуж или разъедетесь навсегда. Тебе не нужно решение прямо сегодня. Тебе нужно просто дожить этот день, и следующий, и тот, что после него, и смотреть, что будет происходить между вами на самом деле, а не в твоей голове в четыре утра.

Я усмехаюсь сквозь внезапно подступившие слёзы, хотя плакать вроде бы не из-за чего, просто слишком много всего накопилось за последние два дня, слишком много чувств, которые я не привыкла испытывать настолько сразу.

— Откуда ты знаешь, что сейчас четыре утра?

— Потому что я тебя знаю, — отвечает Мел с теплом в голосе. — И потому что только в четыре утра человек способен позвонить подруге и выдать такую речь, какую ты мне сейчас выдала. Ну и умею считать, как незначительный факт.

Мы обе тихо смеёмся, и на секунду становится легче, будто этот смех смывает часть напряжения, скопившегося во мне за ночь. Но стоит разговору чуть стихнуть, как тревога снова подкатывает, тупая и настойчивая, напоминающая, что через несколько часов я снова увижу Ника за завтраком, и мне придётся как-то справляться с этим взглядом, с этой заботой, с этой необъяснимой химией, от которой земля уходит из-под ног.

— Спасибо, что выслушала, — говорю я наконец. — Мне правда стало немного легче.

— Для этого и существуют лучшие подруги, — отвечает Мел. — Просто попробуй не сбегать от того, что происходит. Хотя бы ради эксперимента. Ты же учёный, Мэри, иногда стоит дать гипотезе шанс подтвердиться, прежде чем опровергать её на берегу.

Мы прощаемся, и я ещё долго сижу с погасшим экраном телефона в руке, глядя, как розовый свет над Нилом густеет, превращается в настоящее утро. Слова Мел звучат разумно, звучат правильно, но тревога в груди никуда не девается, она просто перестаёт кричать и переходит в тихий, неотступный гул, с которым, кажется, придётся прожить весь этот день.

* * *

Телефон лежит на столе экраном вверх, и я долго смотрю на него собираясь написать одно короткое сообщение. Пальцы зависают над клавиатурой, будто сами не уверены, какими словами прикрыть то, что на самом деле происходит внутри меня.

«Доброе утро! Сегодня, пожалуй, останусь наедине с собой, схожу на базар за сувенирами для своих — Стив обидится, если я вернусь без какой-нибудь безделушки для лаборатории. Хочу побыть немного одна, собраться с мыслями. Увидимся вечером?»

Перечитываю трижды, вычёркиваю «собраться с мыслями» — слишком похоже на правду, слишком легко читается между строк, — заменяю на «разобрать фотографии». Отправляю, пока решимость не успела снова рассыпаться на сомнения, и сразу убираю телефон подальше, на тумбочку у кровати, будто физическое расстояние способно что-то изменить в том, что происходит у меня внутри.

Звоню на ресепшн и заказываю завтрак в номер: яичницу, свежий хлеб, кофе покрепче. Голос у портье сонный и доброжелательный, он желает мне хорошего утра на ломаном английском, и я улыбаюсь в трубку, хотя он этого, конечно, не видит.

Пока жду, иду в душ, подставляю лицо под тёплые струи и пытаюсь выдохнуть всё, что скопилось за эту ночь: разговор с Мел, розовое небо над Нилом, тупой гул тревоги под рёбрами, который так и не прошёл. Вода стекает по плечам, и я говорю себе, что сегодняшний день будет

просто днём. Самым обычным. Я пройдусь по базару, куплю несколько глупых сувениров, вернусь, лягу пораньше спать. Ничего особенного.

Звучит убедительно, пока я не выключаю воду и не слышу стук в дверь.

Завтрак накрыт на маленьком подносе — яичница с томатами, горячие лепёшки, дольки манго, нарезанные так аккуратно, будто их выкладывал кто-то, влюблённый в свою работу. Я благодарю официанта, даю чаевые и выношу поднос на террасу, где воздух уже прогрелся, но ещё не превратился в то плотное, душное марево, которым полдень накрывает город.

Нил внизу течёт медленно, лениво, будто ему некуда спешить, и в его зеркальной поверхности отражаются первые лучи, разбивающиеся на сотни мелких бликов. Где-то вдалеке кричат чайки, сигналит машина, перекликаются голоса с воды — рыбаки, наверное, или те, кто возит туристов на фелуках. Я сажусь, завтракаю не спеша, стараясь растянуть этот момент, пока он не разорвался мыслями о вчерашнем вечере, о пледе на плечах, о взгляде Ника через стол, от которого у меня до сих пор теплеет внутри непонятным образом.

Яичница остывает быстрее, чем я успеваю её доесть, потому что я то и дело замираю с вилкой на весу, глядя на реку и ничего в ней не видя. Мел права: мне не нужно сейчас ничего решать. Но знание этого почему-то не мешает мне проверять телефон каждые несколько минут, будто если я не посмотрю, то упущу что-то важное.

Экран темен. Никаких сообщений.

Я кладу телефон обратно рядом с тарелкой экраном вниз, строго себе напоминая, что сегодня я договорилась побыть одна, а значит, мне совершенно не должно быть дела до того, ответил Ник или нет. Делаю глоток кофе, он горький и крепкий, именно такой, какой нужен после почти бессонной ночи, и на секунду мне действительно становится спокойнее.

Проходит минут десять, и я снова беру телефон в руки — просто чтобы посмотреть время, убеждаю я себя, — и снова вижу пустой экран. Ни единого сообщения. Где-то в груди шевелится странная смесь разочарования и облегчения одновременно, и я сама на себя злюсь за то, что вообще способна испытывать и то и другое из-за одного короткого молчания человека, которого я знаю так недолго

«Это просто дружба, — повторяю я про себя слова, которые прозвучали в разговоре с Мел несколько часов назад, и тут же слышу её голос в своей голове: — Ну да, конечно, Мэри. Дружба». Я усмехаюсь сама себе, качаю головой и доедаю остывшую яичницу уже без всякого удовольствия, просто чтобы не оставлять еду.

Собираюсь быстро: лёгкое льняное платье, удобные сандалии, широкополая шляпа от солнца и сумка через плечо, в которую кладу воду, крем от загара и, подумав, косметичку — хотя кому я собираюсь нравиться на базаре среди торговцев специями, непонятно даже мне самой. Перед зеркалом в прихожей задерживаюсь разглядывая своё отражение: усталые глаза, которые не скрыть никаким тональным кремом, и странное, незнакомое мне самой выражение не то тревоги, не то предвкушения.

«Это просто прогулка, — говорю я вслух своему отражению, будто произнесённая фраза способна стать правдой только от того, что прозвучала. — Сувениры для Стива, для Мел, может быть, что-нибудь для Саманты, хотя бог знает, чем можно удивить мою непутевую сводную сестру, которая сейчас на съемках где-то в Милане и совсем не звонит». Мэри видит фото Саманты в инстаграмме, ставит реакции. Но сестра слишком импульсивная. Может год не проявляться, потом приехать и не вылазить из ее плавучего домика месяц. Мэри привыкла.

Телефон снова в сумке, снова проверен — молчит, — и я, не позволяя себе больше ни секунды колебаний, выхожу из номера и иду к лифту, где уже привычно улыбается портье, желающий мне хорошего дня. Я улыбаюсь в ответ, выхожу из прохладного холла отеля на улицу, и утренний каирский зной тут же обнимает меня со всех сторон, густой, пыльный, пропитанный запахом специй, выхлопных газов и чего-то сладкого, доносящегося, кажется, с соседней улицы.

Я иду в сторону базара, стараясь думать только о сувенирах, о том, что купить Стиву — наверное, что-нибудь с иероглифами, он оценит шутку, — и чувствую, как с каждым шагом тревога в груди немного ослабевает. Может быть, Мел права. Может быть, сегодня достаточно просто дожить до вечера, не обгоняя события и не придумывая себе катастроф, которых ещё не случилось.

Я не оглядываюсь на отель, хотя где-то внутри меня тянет сделать именно это, будто я могу заглянуть снизу, в окно его номера, как он там, спит ли ещё, думает ли обо мне так же, как я думаю о нём. Вместо этого я прибавляю шаг, убеждая себя, что иду просто за сувенирами, и что сегодняшний день — это просто день, один из многих, ничего особенного.

* * *

Базар издалека начинает привлекать своим шумом. Звук наростает постепенно. Гортанные выкрики торговцев, звон медной посуды, где-то кричит осёл, и поверх всего этого плывёт густой, почти осязаемый запах — корица, кумин, жареный миндаль, пыль, нагретая солнцем ткань. Я ныряю в этот поток, и на секунду меня относит течением, пока глаза не привыкают к полумраку крытых рядов после белого каирского света.

Прохожу мимо развалов с пряностями, горки которых насыпаны так высоко и аккуратно, что кажутся нарисованными: охра куркумы, бордовый сумах, чёрный перец. Торговец, не старше двадцати пяти, начинает что-то говорить мне по-арабски, потом переходит на ломаный английский, предлагая попробовать смесь для чая на меду и шафране. Я качаю головой, улыбаюсь, иду дальше — и ловлю себя на том, что впервые за это утро улыбаюсь без второго дна, без мысли о телефоне в сумке.

У лотка с тканями останавливаюсь надолго. Пожилая женщина в чёрном хиджабе, расшитом по краю серебряной нитью, разворачивает передо мной шарф цвета вечернего Нила, с переливом от синего к зелёному, и называет цену, явно рассчитанную на туристку, у которой вместо мозгов кошелёк. Я называю свою, вдвое меньше, качаю головой, делаю вид, что ухожу — и через полминуты шарф уже у меня в руках за сумму где-то посередине, а продавщица довольно кивает, будто мы обе выиграли, что, наверное, так и есть.

— Это для Мел, — говорю я сама себе вслух, складывая шарф в сумку. Для Мел, которая два часа назад сказала мне по телефону жить здесь и сейчас, а сама небось сидит в лаборатории под люминесцентными лампами и мечтает о любом пейзаже ярче серого сиэтлского неба.

Для Стива нахожу маленькую статуэтку скарабея из зелёного камня — грубоватую, явно сувенирную, без претензии на древность, но с выгравированными на спинке иероглифами, которые, если верить продавцу, означают «удачу в делах». Я представляю, как Стив водрузит его на край своего рабочего стола рядом с кружкой остывшего кофе и будет весь день рассказывать коллегам байку о том, что лично откопал его в Каире. Улыбаюсь этой картинке так широко, что проходящий мимо мальчишка со связкой открыток тут же пристраивается рядом, решив, что нашёл благодарного покупателя.

Для лаборатории беру горсть мелочей: магниты с верблюдами, закладки с папирусом, что-то похожее на брелоки в форме анка — пусть лежат в общей вазочке на кухне, пусть кто-нибудь возьмёт себе, не жалко. Торгуюсь за всё это с удовольствием, почти азартно, и в какой-то момент замечаю, что торговец уже обращается ко мне не «мисс», а по имени, которое я случайно обронила пару минут назад, — будто мы знакомы много лет, а не десять минут.

И вот в этом, именно в этом моменте — руки заняты пакетами, пальцы пахнут корицей, голова занята подсчётом сдачи в фунтах, — я вдруг чувствую себя собой. Не женщиной, которая полночи провела на террасе, вцепившись в телефон, не той, что тонет в чужих голубых глазах стоит им задержаться на секунду дольше обычного. Просто Мэри. Учёной из Сиэтла, которая торгуется за сувениры на каирском базаре, потому что ей нравится процесс торговли, нравится этот город, нравится утро, в котором пока ничего не случилось плохого.

Это длится недолго.

Я останавливаюсь у лотка с украшениями, где среди бус из лазурита и колец с глазом Гора лежат маленькие фигурки животных, вырезанные, кажется, из обсидиана — отполированные до блеска, тёмные, почти чёрные. Скорпионы, кошки, соколы. Беру в руки небольшого скорпиона, провожу пальцем по изогнутому хвосту, и торговец, заметив мой интерес, тут же протягивает мне другого — чуть крупнее, с инкрустированными в глазницы крошечными кусочками бирюзы.

Я замираю.

Глаза у него голубые. Не такие, как у настоящего скорпиона, конечно, — камень есть камень, — но тон именно такой, какой бывает у ясного зимнего неба или, думаю я совершенно некстати, у глаз человека, который вчера весь говорил о будущем так, будто в нём точно есть место ещё для кого-то.

«Это просто сувенир, — говорю я себе, — Он же археолог. Скорпионы, древности, вот это всё. Это подходящий подарок для археолога, и только поэтому я его рассматриваю».

Но я знаю, что неправда. Я знаю, что выбираю этого скорпиона не потому, что Ник копает в земле, а потому, что хочу увидеть, как он улыбнётся этой нелепой шутке — знаку зодиака, подаренному мужчине, который им же и является, и что я уже представляю, куда он поставит эту фигурку: на подоконник в чикагской квартире на восьмидесятом этаже, рядом с телескопом, или в сумку, где везёт с собой все мелочи из путешествий, или, может быть, просто положит в карман, чтобы не расставаться.

Торговец, почувствовав, что клиентка попалась, называет цену в три раза выше начальной. Я даже не спорю — просто плачу, забираю скорпиона, заворачиваю его сама в кусок хлопковой ткани, которую мне суют бесплатно, и укладываю на самое дно сумки, подальше от остальных покупок, будто он требует особого обращения.

Выйдя из крытого ряда обратно на солнце, я несколько секунд стою, щурясь, с пакетами в обеих руках, и чувствую странную смесь удовлетворения и досады на саму себя. Удовлетворения — потому что утро прошло так, как я хотела: наполненно, предметно, без единой мысли о мужчинах дольше трёх минут подряд. Досады — потому что всё равно, абсолютно всё равно, чем бы я ни занимала голову, пальцы сами тянулись к тому, что хоть немного напоминало о нём.

Телефон в сумке молчит — я не проверяю его почти час, и это маленькая, но настоящая победа, которой я позволяю себе порадоваться, пока иду обратно по узким улочкам в сторону отеля, обходя тележки с манго и лотки с жареными орехами. Жара хуже, чем утром, воздух дрожит над раскалённым асфальтом, и я уже предвкушаю прохладу холла, стакан холодной воды у стойки, может быть, короткий сон после обеда — спокойный остаток дня, целиком принадлежащий мне самой.

Отель показывается за поворотом, белый и строгий на фоне рыжих крыш, и я прибавляю шаг, уже чувствуя, как ноги гудят от долгой ходьбы по жаре, а в сумке приятно оттягивает плечо вес сегодняшних трофеев. Скорпион с голубыми глазами лежит на самом дне, завёрнутый в ткань, и я почти слышу, как он молчит там, выжидая момент, когда я наконец решу, что с ним делать — отдать сразу или подождать более подходящего случая, который, подозреваю, я буду придумывать себе ещё очень долго.

* * *

У входа в отель меня нагоняет голос, звонкий и совсем не сдержанный:

— Мэри! Мэри, подожди!

Оборачиваюсь — Джон почти бежит через холл, лавируя между креслами и чемоданами на колёсиках, в расстёгнутой рубашке навыпуск, с таким лицом, будто за ним гонятся. Останавливается в шаге от меня, слегка запыхавшийся, и смотрит так, что я невольно перехватываю сумку с сувенирами поближе к себе, будто она может защитить меня от того, что он собирается сказать.

— Слава богу, — говорит он. — Что я встретил тебя

— Что-то случилось?

— Пойдём выпьем кофе, — он уже тянет меня за локоть в сторону открытой террасы кафе при отеле, где под белыми зонтами стоят низкие столики. — Разговор не на пять секунд.

Что-то внутри у меня сжимается, пока мы идём, и я пытаюсь угадать по его спине, по тому, как он держит плечи, насколько это серьёзно. Джон не из тех, кто драматизирует по пустякам, насколько я успела его узнать за эти дни, он из тех, кто шутит даже над саркофагами. Если он бежит через холл, значит, что-то действительно не так.

Мы садимся за столик в тени, официант приносит два эспрессо почти сразу же, будто ждал нас, и Джон молчит до тех пор, пока чашки не оказываются на столе. Потом залпом отпивает половину и только тогда поднимает на меня глаза.

— Ник сегодня невменяемый, — говорит он. — Серьёзно. Я таким его ещё не видел.

— Что значит невменяемый?

— С утра. Прямо с рассвета. Мы должны были встретиться в восемь обсудить смету, он не вышел. Сара пошла его искать, говорит, сидел на балконе в одних шортах и смотрел в одну точку. На её вопрос, что случилось, рявкнул так, что она аж отшатнулась.

Кофе во рту вдруг кажется слишком горьким, я ставлю чашку обратно на блюдце осторожнее, чем нужно, чтобы она не звякнула о фарфор слишком громко.

— Он объяснил, из-за чего?

— В том и дело, что нет, — Джон разводит руками, и в этом жесте столько искреннего недоумения, что мне почти смешно, если бы не было так тревожно. — Мы думали может ты знаешь. Отменил встречу с бригадиром раскопщиков, которую сам же назначил на сегодня. Наорал на администратора из-за номера, хотя номер тот же, что и был. Потом заперся у себя и не отвечает ни на звонки, ни на стук. Сара стучала минут десять, говорит, слышала, как он там ходит, туда-сюда, как зверь в клетке.

Я смотрю на свою чашку, на тонкую плёнку пенки, которая успела остыть сверху, и чувствую, как внутри что-то ворочается, неприятное и тёплое одновременно, два совершенно разных ощущения, перемешанных так плотно, что их не разделить.

Вина — вот первое, что я узнаю отчётливо. Потому что я знаю, из-за чего он не вышел на балкон вчера с привычной улыбкой, знаю, что он весь вечер говорил о будущем так осторожно, будто боялся спугнуть, и я ушла, не договорив, ушла, когда он почти позволил себе быть настоящим. А сегодня утром написала, что хочу побыть одна, и отправилась на базар покупать подарки.

А второе чувство я узнаю хуже, потому что мне стыдно его называть: это что-то похожее на радость. Нелепую, постыдную радость от мысли, что мужчина, который так тщательно следит за собой, который умеет в любой компании казаться самым спокойным человеком в комнате, из-за меня теряет этот контроль. Что я каким-то образом смогла пробить в нём трещину шире, чем просто вежливый интерес к спутнице по путешествию.

— Может, у него что-то с работой, — говорю я вслух, хотя сама не верю ни единому слову. — Звонок от инвесторов, проблема с разрешением на раскопки.

— Может быть, — Джон пожимает плечами, но смотрит на меня так, будто ему вовсе не кажется, что дело в работе. — Знаешь, Мэри, я его пять лет знаю. Он бывает резким, бывает саркастичным до зубовного скрежета, но вот таким — взвинченным, из-за ерунды орущим на людей, которые ни в чём не виноваты, — таким я видел его один раз. Три года назад

Он не уточняет, когда именно, но мне и не нужно уточнение: три года назад — это достаточно близко к той свадьбе, о которой Ник ни разу не заговорил сам, но о которой я уже слышала достаточно, чтобы собрать картину без лишних слов.

— Думаешь, это из-за меня? — спрашиваю я тихо, уже зная ответ, но желая услышать его не от себя, а со стороны, будто чужой голос сможет либо развеять, либо подтвердить то, что внутри меня и так разрастается с каждой секундой.

Джон долго молчит, крутит в пальцах чашку, потом отвечает осторожнее, чем говорил до этого:

— Я не знаю, что между вами происходит. Это не моё дело, и я не лезу. Но вчера он на тебя смотрел так, что я один раз чуть не поперхнулся, честное слово. А сегодня он заперся в номере и орёт на людей. Делай выводы сама. Вы поссорились?

Я молчу, глядя на Нил через ограду террасы, на его тяжёлую коричневую воду, которая несёт на себе солнечные блики так спокойно, будто ничего во вселенной не может её смутить. Мне хочется быть такой же: невозмутимой, текущей своим путём, не сбиваемой ничьим взглядом. Но внутри у меня всё наоборот — течение сбилось, завернуло не туда, и я уже не уверена, куда оно меня несёт.

— Мне кажется, — говорю я медленно, подбирая слова так осторожно, будто они могут взорваться, стоит произнести их неправильно, — нам с ним сегодня, пожалуй, лучше не пересекаться.

Джон поднимает брови, удивлённый, и это удивление — первое честное выражение на его лице за весь разговор.

— Серьёзно? А я думал, ты побежишь сейчас его спасать.

— Именно поэтому и нет, — отвечаю я, и сама слышу, что в голосе больше решимости, чем я на самом деле чувствую. — Если я пойду к нему сейчас, взвинченная, он взвинченный, мы оба наговорим того, что потом не возьмём обратно. Пусть остынет. Пусть я остыну. Вечером разберёмся.

Это звучит разумно, звучит как решение уверенного в себе человека, который умеет держать дистанцию, когда ситуация того требует, и я почти верю самой себе, пока произношу это вслух. Но где-то глубже, в той части меня, которая не подчиняется никакой логике и никакой науке, уже скребётся совсем другое желание, нелепое и упрямое: подняться на его этаж, постучать в дверь тихо, без требований, и просто сесть рядом, даже если он не захочет говорить, даже если будет злиться. Просто быть рядом, пока эта злость, что бы её ни вызвало, не выйдет из него, как выходит жар во время болезни.

Я отгоняю эту мысль так же, как отгоняла её весь день, убеждая себя, что сегодняшнее решение остаться в стороне — правильное, взвешенное, спасительное для нас обоих. Джон допивает кофе и смотрит на меня с тем особым выражением, которое бывает у людей, разгадавших чужую тайну, но решивших до поры промолчать.

— Как скажешь, — говорит он, пожимая плечами. — Только учти, что он не из тех, кто успокаивается сам по себе. Обычно наоборот — заводится сильнее, если его оставить одного.

Я киваю, не зная, что на это ответить, и перевожу взгляд обратно на Нил, туда, где рыбацкая лодка медленно режет носом воду, оставляя за собой широкий расходящийся след, который через секунду снова смыкается, будто его никогда и не было.

* * *

Я еще не успеваю ответить, как раздаются шаги, и я поднимаю глаза, готовая увидеть кого угодно, кроме тех двоих, что появляются из-за угла террасы.

Ник идёт рядом с Сарой, и даже с такого расстояния я вижу, что с ним что-то не так. Волосы растрёпаны, будто он весь день проводил по ним рукой, не замечая этого, рубашка помята так, словно он в ней спал, а может, и не спал вовсе. Когда он подходит ближе, я вижу его глаза — красные, воспалённые, с тёмными кругами внизу, и это зрелище расстраивает меня больше, чем я готова признать.

Все мои утренние доводы, которые я так старательно выстраивала на террасе, на базаре, здесь, за этим столиком, в одну секунду начинают трещать по швам. Я хочу встать, подойти,

взять его лицо в ладони и спросить, что случилось, кто его обидел, почему он не спал. Хочу убрать эту растрёпанную прядь со лба — она падает ему на глаза, а он даже не замечает, — хочу увести его в номер, уложить, укрыть одеялом от кондиционера и сидеть рядом, пока он не уснёт, охраняя его покой, как будто это моя обязанность, как будто я давно уже выбрала эту роль для себя, просто ещё не признавалась в этом вслух.

Вместо этого я сижу неподвижно, сцепив руки на коленях под столом, и улыбаюсь той самой ровной, вежливой улыбкой, которую отрабатывала годами на научных конференциях, когда нужно было сохранять лицо перед людьми, которые тебе не доверяют.

— Доброе утро, — говорю я, и голос звучит почти естественно.

— Утро, — отвечает Ник, и в этом коротком слове слышна такая усталость, что мне становится физически больно.

Сара садится рядом с Джоном, перекидывается с ним какой-то шуткой про музей, и я благодарна ей за то, что она заполняет паузу, потому что сама я не знаю, что сказать. Ник остаётся стоять, опираясь рукой на спинку свободного стула, будто не решил ещё, садиться ему или нет.

— Как сходила на базар? — спрашивает он, и в его тоне я слышу попытку звучать обычно, непринуждённо, но получается у него это хуже, чем у меня.

— Купила сувениры, — говорю я. — Подруге, начальнику, себе на память.

Он кивает, смотрит куда-то в сторону Нила, не на меня, и я замечаю, что за весь разговор он так и не взглянул мне прямо в глаза. Это странно, непривычно, и от этого внутри у меня что-то сжимается ещё сильнее, чем от вида его красных век.

— Джон сказал, у тебя сегодня тяжёлый день, — произношу я осторожно, пробуя почву, хотя обещала себе ещё час назад держаться подальше от этой темы.

Ник бросает быстрый взгляд на Джона, и тот неловко отводит глаза, делая вид, что его очень интересует чашка кофе перед ним.

— Бумажная работа, — говорит Ник коротко. — Разрешения, музейные формальности. Скучно рассказывать.

Я понимаю, что это не вся правда, может быть, вообще не правда, но не настаиваю. Сара тоже молчит, хотя по тому, как она прячет лёгкую усмешку, уголком губ, я догадываюсь, что ей есть что добавить, просто она умнее, чем Джон, и умеет держать язык за зубами.

Повисает пауза, неловкая, густая, как воздух перед дождём, и я снова ловлю себя на желании протянуть руку через стол и коснуться его ладони, лежащей на спинке стула. Всего на секунду. Просто чтобы он почувствовал, что рядом есть кто-то, кому не всё равно, рвёт он и мечет сегодня или нет.

— Ты останешься в номере весь день? — спрашивает Ник наконец, и в этом вопросе я слышу что-то похожее на осторожность, будто он боится услышать «да» так же, как боится услышать «нет».

— Да, хотела отдохнуть немного, — отвечаю я. — Перевести дух.

Он кивает снова, слишком быстро, и смотрит на реку, на баржу, медленно плывущую мимо берега с горой каких-то тюков на палубе.

— Понимаю, — говорит он, и в его голосе проскальзывает что-то похожее на разочарование, хотя он явно старается это скрыть.

Сара с Джоном переглядываются, и я чувствую себя так, будто нас четверых связывает невидимая нить, которую все замечают, кроме, может быть, самого Джона, который снова тянется за кофе с таким видом, будто ничего интереснее в мире для него нет.

— Слушай, — говорит вдруг Ник, и впервые за всё это время он смотрит прямо на меня, впервые по-настоящему, и от этого взгляда, усталого, тёмного, с каким-то отчаянием на дне, у меня перехватывает дыхание. — Может, вечером прогуляемся вдоль реки? Без музеев, без лекций про фараонов. Просто пройтись.

Он произносит это так, будто это ничего не значит, будто это обычное предложение между двумя знакомыми, скоротать вечер вместе, но я слышу за этими словами что-то совсем другое — просьбу, почти мольбу, замаскированную под небрежность. И весь мой утренний план, вся та выстроенная за день линия обороны, рушится в одну секунду, как карточный домик от сквозняка.

— Хорошо, — говорю я, и слышу, как собственный голос звучит мягче, чем мне бы хотелось при Саре и Джоне. — Вечером.

Что-то в его лице меняется, едва заметно, усталость будто немного отступает, хотя глаза остаются такими же красными, и уголок губ дёргается в подобии улыбки, которую он тут же прячет, отводя взгляд обратно к реке.

— Тогда до вечера, — говорит он и, не дожидаясь ответа, разворачивается и уходит в сторону отеля, а Сара, бросив на меня последний красноречивый взгляд, идёт следом за ним, оставляя меня наедине с Джоном и с чашкой остывающего кофе.

Я смотрю ему вслед, на его сутулые от усталости плечи, на то, как он проводит рукой по волосами, уже знакомым жестом и понимаю, что весь день, который я планировала провести в блаженном одиночестве, собирая по кусочкам разумные доводы о дистанции и осторожности, был потрачен впустую в ту самую секунду, когда я сказала «хорошо».

Джон тихо присвистывает рядом, качая головой.

— Ну и ну, — говорит он с усмешкой, которая на этот раз не кажется беззаботной. — Чет его накрыло. А ты говорила — не пересекаться.

Я ничего не отвечаю, только смотрю на Нил, туда, где баржа с тюками уже почти скрылась за поворотом реки, уходя дальше, туда, куда я пока не вижу пути.

Глава 10. Слишком близко

Зеркало в номере отеля — высокое, с чуть пожелтевшей от времени рамой, и я стою перед ним уже минут десять, поворачиваясь то одним боком, то другим, как будто от угла обзора зависит, достаточно ли я выгляжу собранной, или наоборот, слишком стараюсь казаться такой.

Платье серое, на тонких бретельках, открытое настолько, что я дважды думаю накинуть сверху лёгкую рубашку и дважды передумываю. Оно облегает именно там, где должно, и когда я вдыхаю, ткань натягивается на груди так, что я быстро отвожу взгляд от собственного отражения, будто меня застали за чем-то неприличным. Чёрные ремешки сандалий обвивают щиколотки, завязываясь крест-накрест, и в этом есть что-то от старых фильмов про Египет, где героини всегда выглядят так, будто вот-вот сойдут с баржи Клеопатры. Я стала смелее? А может и правда решила покориться судьбе впервые в жизни и не думать о последствиях?

Расчёсываю волосы, пока они не начинают виться мягкими волнами по спине и плечам, и вдеваю в уши серьги со скорпионами, те что купила сегодня утром на базаре, пока торговец нахваливал мне сапфировую пыль в их глазах и божился всеми пророками, что это настоящее серебро. Маленькие, с крохотными голубыми камешками вместо глаз. Я верчу головой, ловлю, как они покачиваются и ловят свет лампы, и подмигиваю своему отражению, будто сообщница самой себе.

Духи — на запястья, за уши, одно едва уловимое облако на шею. Так. Надо быть легче. Не портить себе вечер заранее выстроенными сценариями того, как всё пойдёт не так.

«Хватит дрожать, как первокурсница перед экзаменом», — говорю я зеркалу вслух, и собственный голос в пустой комнате звучит неожиданно строго, совсем не так, как я себя чувствую внутри.

Вспоминаю утренний разговор с Мел, её голос.

— Мэри, — сказала она — ты единственный человек на планете, который умеет превратить романтическую прогулку в вопрос этики и долгосрочного планирования. Просто иди. Просто будь с ним. Хоть раз в жизни не считай наперёд.

Я конечно посмеялась, сказала, что она преувеличивает, а сама весь оставшийся разгово записывала эти слова где-то глубоко, зная, что когда-то они мне понадобятся.

Сумка лежит на кровати, и я тянусь к ней, нащупываю на самом дне, под косметичкой и завёрнутым в бумагу шарфом для Мел, что-то твёрдое и прохладное. Фигурка скорпиона с глазами того же оттенка, что и серьги, почти игрушечная, но вырезанная с удивительной тщательностью, каждая клешня, каждый сегмент хвоста. Я достаю её, кладу на ладонь.

Это глупо. Дарить мужчине фигурку его знака зодиака на, можно сказать, третий вечер знакомства — это глупо и слишком откровенно, как будто я вывешиваю табличку с надписью «я думала о тебе весь день, пока выбирала сувениры для коллег». Я быстро прячу скорпиона обратно в сумочку, а шарф и другие подарки оставляю в номере.

Сегодня просто разговор. Дружеская прогулка вдоль реки, ничего больше. Если он захочет сказать что-то серьёзное, я выслушаю. Если нет — что ж, будет вечер, баржи на воде, огни на другом берегу, и я, наконец, перестану считать это испытанием.

Хотя где-то в области сердца, совсем другое желание, неуместное и слишком явное: протянуть руку и запустить пальцы в его отросшие тёмные волосы, которые чуть выжжены солнцем и некоторые пряди светлее, которые утром были взъерошены от бессонницы и мне так хотелось пригладить их вместо того, чтобы сидеть в стороне с чашкой остывающего кофе.

Я качаю головой своему отражению, как будто это может отогнать мысль, и в этот момент телефон на столике коротко вибрирует.

Беру его, экран высвечивает имя, и что-то внутри предсказуемо вздрагивает, прежде чем я успеваю прочитать сообщение.

«Жду внизу. Надеюсь, ты готова к лекции про Нил».

Я смеюсь вслух, уже тише, уже без всякой строгости к себе, и, бросив последний взгляд на отражение — волосы, серьги, слишком короткое платье, — тянусь за ключом от номера.

Будь что будет, думаю я, выключая свет.

* * *

Лифт звякает, и я выхожу в лобби, где мраморный пол отражает люстру так, что весь вечер становится чуточку театральным, будто декорация к пьесе, в которой я так до конца и не выучила свою роль.

Ник уже там, у колонны, и первое, что я замечаю, — он не похож на человека, который утром орал на бедного администратора и запирался в номере с пачкой бумаг. Рубашка расстёгнута на две пуговицы больше, чем позволяет приличие, рукава закатаны до локтей, волосы всё ещё влажные после душа и уложены небрежно, ровно настолько, чтобы выглядеть так, будто он вообще не прикладывал усилий. Под глазами — ни намёка на тёмные круги. Как будто кто-то за пять часов стёр с него всю ночь без сна и подменил свежей версией.

— Не пялься так, — говорит он, заметив мой взгляд, и отталкивается от колонны. — А то я подумаю, что ты наконец оценила мою внешность по достоинству, и начну задирать нос.

— Я просто пытаюсь понять, где труп того человека, который утром рычал на Сару из-за какого-то факса.

— Похоронен с почестями. — Он берёт мою руку, не спрашивая, просто вкладывает её в свою, и разворачивает ладонью вверх, будто хочет прочитать линию судьбы. — Сон творит чудеса, Мэри. Советую как-нибудь попробовать.

Мне хочется спросить, сколько он всё-таки проспал и спал ли вообще, или это просто вторая, более убедительная маска, но вместо этого я смотрю на его сумку, перекинутую через плечо, и вижу торчащий угол свёрнутой карты.

— Готовишься к побегу?

— К лекции про Нил, которую ты должна выслушать молча и с благодарностью.

Мы идём к выходу, и швейцар придерживает дверь, кивая Нику с той особенной почтительностью, какую оказывают людям, которые щедро дают чаевые и никогда не торгуются из-за мелочей. На улице воздух густой, тёплый, пахнет пряностями и пылью, и где-то вдалеке кричит мулла, созывая на вечернюю молитву.

— Кстати, — говорит Ник, покосившись на мою сумку, которую я по привычке прижимаю к боку — я слышал, ты сегодня устроила на базаре настоящую военную операцию. Сара говорит, ты скупила половину лавки с сувенирами.

— Преувеличение.

— Шарф для подруги, скарабей для начальника, какие-то мелочи для лаборатории… — Он загибает пальцы, перечисляя с деланой серьёзностью следователя. — А мне, значит, ничего?

— Ты не просил.

— Я не просил, потому что надеялся на твою интуицию, Мэри. А интуиция меня подвела.

Я фыркаю, пытаясь скрыть, что на дне сумки лежит крошечная фигурка с голубыми глазами, завёрнутая так тщательно, будто это что-то постыдное, а не глупый сувенир с базара.

— В следующий раз составь список.

— Список желаний? — Он поднимает брови, в глазах мелькает что-то дразнящее, лёгкое, то самое, что в обед отсутствовало напрочь, когда он подошёл к нам с Джоном в ресторане, с лицом человека, не спавшего неделю и готового укусить первого, кто подойдёт слишком близко. — Опасная территория для долгой прогулки.

— Долгой, если ты и правда собираешься читать лекцию про реку. Ты говорил что этого не будет. Но я не против, даже за!

Я смотрю на него искоса, пока мы идём по направлению к набережной, и чувствую, как внутри что-то расслабляется, впервые за весь день. Этот лёгкий, подтрунивающий взгляд, которым он смотрит на меня сейчас, не имеет ничего общего с тем затравленным, пустым выражением, что застыло в его глазах днем, когда он вышел из номера, не смотря ни никого вокруг, будто всю ночь провёл не в постели, а где-то глубоко внутри себя, в месте, куда никому не было доступа. Я всё еще эгоистично надеюсь, что это из-за моей скромной персоны.

Мне хочется спросить, что это было. Чтобы он подтвердил мои догадки. Хочется остановиться прямо здесь, на тротуаре, развернуться к нему и сказать: расскажи мне, что случилось, почему ты кричал на Сару, почему заперся, почему у тебя было такое лицо, как будто ты увидел призрака. Но это было бы слишком, слишком личное для вечера, который я сама себе обещала провести легко, без раскопок чужих тайн, без попыток влезть туда, куда меня не звали.

Поэтому я молчу, и вместо вопроса просто иду рядом, подстраиваясь под его шаг.

У самого выхода на набережную он вдруг останавливается, оборачивается ко мне и сгибает руку в локте — старомодным, почти карикатурным жестом, каким в старых фильмах мужчины сопровождают дам на бал.

— Мадам.

— Мы идём гулять вдоль реки, а не на приём к королеве.

— Для меня это одно и то же. — Он смотрит на меня с той смесью иронии и чего-то более тёплого, что мне до сих пор не удаётся правильно расшифровать. — Берёшь руку или мне придётся изображать трагически отвергнутого кавалера весь вечер?

Я вздыхаю, будто делаю ему одолжение, хотя сердце уже давно решило за меня, и вкладываю пальцы в сгиб его локтя. Рубашка под моей ладонью тёплая от вечернего воздуха, и сквозь тонкую ткань я чувствую, как напрягается его предплечье, когда он чуть крепче прижимает мою руку к себе.

— Так-то лучше, — говорит он, и мы вместе сворачиваем к воде, туда, где вечерний Нил уже начинает наливаться медным светом заката.

* * *

Закат превращает Нил в расплавленную медь, и по воде бегут блики, будто кто-то рассыпал по поверхности хлопья старого золота. Фелуки покачиваются у берега, их паруса свёрнуты на ночь, а где-то вдалеке кричит муэдзин, и звук растворяется в теплом воздухе прежде, чем успевает долететь до нас полностью.

— Знаешь, что самое смешное? — Ник останавливается у парапета, облокачивается на него и смотрит на воду с видом человека, который вот-вот откроет страшную тайну. — Они думали, что эта река течёт прямо с небес. Представляешь? Разлив каждый год — одно и то же время, одна и та же щедрость. Для них это было чудо, которое повторяется, как часы.

— А на самом деле?

— На самом деле всё куда скучнее. Тающие снега где-то в Эфиопии, муссоны. Но попробуй скажи это жрецу, который всю жизнь приносил жертвы, чтобы Хапи не разгневался.

— Хапи?

— Бог Нила. Толстый, с женской грудью и бородой, если тебе интересны подробности. — Он скашивает на меня глаза, явно наслаждаясь моим лицом. — Что? У египтян было интересное чувство прекрасного.

Я фыркаю, не сдержавшись, и это получается слишком громко для вечерней набережной, слишком по-детски для женщины, которая весь день убеждала себя быть сдержанной.

— Ты сейчас гордишься собой.

— Безмерно. — Он разворачивается, снова предлагая мне руку, и мы идём дальше вдоль парапета, туда, где свет закатного солнца уже начинает уступать место фонарям. — Это называется страсть к предмету. У тебя то же самое с твоей ДНК, только ты рассказываешь это с меньшим количеством богов с женской грудью.

— Моя страсть куда строже. У меня есть хромосомы вместо мифологии.

— Звучит менее романтично, признаю.

— Зато работает.

— Богиня тоже работала. Разливалась каждый год, как часы, помнишь?

Я закатываю глаза, но уголки губ сами ползут вверх, и я ничего не могу с этим поделать. Есть что-то обезоруживающее в том, как легко он переключается между лекцией и подначкой, будто знание истории для него не способ покрасоваться, а просто ещё одна форма игры.

— Ты всегда так разговариваешь с незнайками истории? — спрашиваю я. — Или это особая программа для генетиков, которые плохо разбираются в богах с бородой?

— Это особая программа для тех, кто купил себе серьги со скорпионами и думает, что я не замечу символизм.

Я краснею и мгновенно хочу прикрыть уши ладонями, но вместо этого просто вздёргиваю подбородок.

— Может, мне просто нравится дизайн.

— Может быть. — Он смотрит на меня с таким удовольствием, что хочется толкнуть его в бок. — Или может, кое-кто втайне без ума от одного конкретного Скорпиона и слишком горд признать это вслух.

— Ты невозможен.

— Я археолог. У нас профессиональная деформация — копать, пока не найдём то, что спрятано.

Мы останавливаемся у самой воды, там, где каменные ступени спускаются к реке и волна лениво облизывает нижние плиты. Нил пахнет илом и чем-то сладковатым, цветочным, что приносит ветер с другого берега, и в этом запахе, смешанном с теплом его плеча рядом с моим, есть что-то настолько живое, что хочется закрыть глаза и просто дышать этим моментом подольше.

— Знаешь, что меня всегда поражало в этой реке? — говорит Ник уже тише, без прежнего лекторского азарта. — Она течёт не туда, куда должна бы течь по всем правилам логики. С юга на север, против того, что кажется естественным для большинства рек в мире. И тысячи лет люди просто научились с этим жить, перестали спорить с направлением и начали строить свою жизнь вдоль того течения, которое есть, а не того, которое логично.

Я смотрю на него сбоку, и на секунду мне кажется, что он говорит вовсе не про реку, но момент проходит прежде, чем я успеваю в этом убедиться, а он уже снова улыбается своей обычной, чуть кривоватой улыбкой.

— Философия Нила от Николаса Девероу, — говорю я. — Запишу в блокнот рядом с Хапи и его бородой.

— Пожалуйста, не забудь указать меня в соавторах, когда будешь издавать свой научный труд.

— Обязательно. Раздел «Благодарности», сноска мелким шрифтом.

Он смеётся, запрокинув голову, и в этом смехе столько настоящей лёгкости, что мне самой становится теплее просто от того, что я стою рядом и слышу его. Весь день сжатый узел где-то под рёбрами наконец начинает ослабевать, будто я впервые за много часов позволяю себе выдохнуть полностью.

Ник поворачивается ко мне, всё ещё улыбаясь, но когда наши взгляды встречаются, что-то в его лице едва заметно меняется. Улыбка никуда не девается, но за ней проступает другое выражение, более пристальное, более серьёзное, будто он смотрит не на женщину, которая только что посмеялась над его шуткой, а на что-то куда более важное, что он пытается удержать в фокусе чуть дольше положенного.

— Что? — спрашиваю я, вдруг смутившись под этим взглядом.

— Ничего, — отвечает он, но пауза перед этим словом слишком длинная, слишком заметная для простого «ничего», и я чувствую, как по коже пробегает тепло, не имеющее отношения к вечернему воздуху Каира.

* * *

Ник молчит секунду, потом снова смотрит на воду, будто давая мне пространство уйти от темы, если захочу. Но что-то в его молчании тянет за ниточку, и я, сама не замечая как, начинаю говорить.

— Просто у меня… есть привычка. Проверять. Людей, в смысле. — Я пожимаю плечами, глядя на тёмную воду, где отражаются последние полосы заката. — Раньше не проверяла. А потом научилась.

— Кто-то научил, — говорит он, не вопрос, утверждение.

— Кто-то научил, — соглашаюсь я и чувствую, как слова выходят сами, без разрешения. — Мы встречались два года. Я думала, у нас всё серьёзно. А потом узнала, что у него были отношения с лаборанткой из нашей же команды. Почти год параллельно. Я последняя об этом узнала, разумеется. Все остальные знали раньше меня.

Голос у меня ровный, слишком ровный, будто я зачитываю протокол эксперимента, а не собственную историю, и в ту же секунду, как последнее слово слетает с губ, меня прошибает холодом стыда. Зачем я это сказала. Мы гуляем вдоль реки, был вечер шуток про Хапи и его бороду, а теперь я вываливаю на Ника свою старую рану, как будто жду, что он станет её разглядывать.

Я напрягаюсь, готовясь к неловкой паузе, к осторожному «мне жаль», к тому фальшивому сочувствию, которое хуже любого равнодушия, потому что заставляет чувствовать себя ещё более жалкой в собственных глазах.

Но Ник не торопится отвечать. Он останавливается — по-настоящему останавливается, не просто замедляет шаг, — и поворачивается ко мне целиком, так что уличный фонарь со стороны набережной обрисовывает резкую линию его скулы.

— Это дерьмо, — говорит он просто. Без театральности, без наигранного сострадания в голосе. — Не только потому что он тебя предали. А потому что год ты жила рядом с ложью, которую все вокруг видели, кроме тебя. Это другое. Это уже не только про него. Это про то, что тебя окружали и молчали.

Я смотрю на него, и что-то внутри груди предательски дрожит, будто натянутая струна, по которой провели смычком. Никакой жалости в его лице нет, только эта спокойная, почти профессиональная точность, с которой он называет вещи своими именами, не пытаясь ни смягчить, ни исправить то, что уже случилось.

— Ты говоришь так, будто сам через это проходил, — говорю я тихо, и это звучит скорее как вопрос, чем утверждение.

Ник не отвечает прямо. Только долгая пауза, в которой что-то проходит через его лицо — тень, быстрая, как облако над закатным солнцем, — и тут же исчезает, спрятанная за привычной сдержанностью.

— Доверие дорого стоит, — говорит он вместо ответа. — Особенно после того, как кто-то доказал, что ему верить не стоило.

К горлу подкатывает ком, совсем не такой, какого я ждала. Не жалость к себе, не привычное сжатие от воспоминания о предательстве. Это что-то другое, незнакомое, похожее на облегчение такой силы, что оно почти физически тяжело, — будто меня впервые за долгое время услышали, не пытаясь погладить по голове и сказать, что всё будет хорошо, не пытаясь перевести разговор в удобное русло.

Я отворачиваюсь к воде, чтобы скрыть то, что наверняка написано у меня на лице, слишком явно, слишком обнажённо для вечерней прогулки у реки. Нил течёт мимо, тёмный и спо-

койный, унося с собой отражения фонарей вдоль набережной, и я цепляюсь взглядом за эту воду, как за что-то устойчивое, пока внутри всё ещё немного штормит.

Его пальцы касаются моих — осторожно, почти невесомо сначала, будто спрашивая разрешения, — а потом сжимаются, крепко, уверенно, и наши руки переплетаются сами собой, без единого слова договорённости об этом. Тепло его ладони проходит сквозь мою кожу куда-то глубже, до сердца и оно сжимается и бьёт по дых.

Я поворачиваюсь к нему, заглядываю в его глаза, тёмные в сумерках, и в них нет ни капли той снисходительности, которой я так боялась.

— Да, генетик, потрепала нас жизнь, — говорит он тихо, уголок губ дёргается вверх в полуулыбке, которая совсем не похожа на его обычную браваду. — Но ты такая красивая, что не останешься одна. Зуб даю.

* * *

Мы делаем шаг — не сговариваясь, просто ноги сами несут туда, где камень набережной обрывается к самой воде. Нил здесь совсем близко, в метре, тёмный и маслянистый, с дрожащими в нём отражениями фонарей. Ник останавливается первым, и я почти врезаюсь в его плечо, но вовремя ловлю равновесие.

Наши руки все ещё переплетены. Он не отпустил, когда мы пошли, а я не стала вытаскивать пальцы, хотя знала, что следовало бы, что это именно та черта, за которой начинается территория, куда я поклялась себе не заходить сегодня вечером. Теперь его локоть почти касается моего плеча, и я чувствую тепло его кожи даже через тонкий рукав рубашки, будто между нами не осталось воздуха, способного остудить эту близость.

— Красиво, — говорю я, кивая на воду, просто чтобы заполнить паузу хоть чем-то.

— Угу, — отвечает он, но смотрит не на реку.

Я поворачиваюсь к нему и понимаю свою ошибку слишком поздно: его взгляд уже на мне, и в сумерках, разбавленных жёлтым светом фонаря, его лицо вдруг оказывается так близко, что я различаю отдельные тени под скулами, едва заметную щетину, которую он, кажется, не брил со вчерашнего утра. Разговор, который минуту назад ещё держался на плаву — про Нил, про фараонов, про что-то лёгкое и безопасное, — обрывается на полуслове, будто кто-то выключил звук.

Повисает тишина, неправильная, слишком длинная для простой паузы между друзьями. Я считаю про себя секунды, пытаясь понять, сколько уже прошло с того момента, как кто-то из нас должен был отвести взгляд, сказать что-нибудь про усталость или про то, что завтра рано вставать. Три секунды. Пять. Десять. Никто не двигается.

Его глаза — тёмные, почти чёрные в этом освещении — опускаются на мгновение, короткое, почти незаметное, если бы я не следила за каждым его движением с той внимательностью, с которой изучаю под микроскопом цепочки ДНК. Он смотрит на мои губы. Всего долю секунды, но этого достаточно, чтобы воздух в лёгких превратился во что-то густое и вязкое, и мне приходится напомнить себе, что дышать всё ещё нужно.

Сердце колотится так, что я почти уверена: он слышит его сквозь те несколько сантиметров, что разделяют нас. Кожа на руке, там, где его пальцы обвивают мои, горит, будто через неё пропускают ток, и это ощущение поднимается выше, по запястью, по предплечью, разливается где-то в груди тёплой, тревожной волной.

Внутри меня начинается спор, быстрый и беспощадный, как перепалка двух учёных, отстаивающих противоположные гипотезы. Одна часть меня — та, что всю жизнь мечтала хоть раз не просчитывать последствия, — шепчет: шагни. Просто шагни чуть ближе, подними лицо, и дальше всё случится само, без твоего разрешения, без твоего контроля. Другая часть, та, что помнит год лжи, год чужих взглядов за своей спиной, год унижения, которое я тогда даже не замечала, кричит громче: отступи. Немедленно. Ты знаешь, чем заканчиваются такие вечера.

Вы разъедитесь в разные города и ты опять будешь собирать себя по частицам! Ты знаешь, как легко спутать благодарность за то, что тебя услышали, с чем-то большим.

Я смотрю на его губы — всего секунду, которую, надеюсь, он не успел заметить, — и внутри что-то сжимается так резко, что я почти вздрагиваю. Хочется забыть обо всех разумных доводах. Хочется просто закрыть эти несколько сантиметров и выяснить, каково это — почувствовать его дыхание на своих губах не в фантазии, не в полусне, а наяву, здесь, у этой тёмной воды, под этим чужим небом.

Но страх оказывается быстрее желания. Он всегда быстрее.

Я отступаю на полшага назад, якобы для того, чтобы развернуться к реке, и вытаскиваю руку из его пальцев — медленно, стараясь, чтобы это не выглядело бегством, хотя это именно оно и есть.

— Ты обещал рассказать что то смешное про Хапи, — говорю я, и голос предательски звучит на полтона выше обычного, слишком легко, слишком бодро для того, что только что между нами произошло.

Ник молчит несколько секунд в растерянности. Я вижу, как в его глазах что-то гаснет, не резко, а медленно, будто кто-то прикручивает фитиль лампы, и на этом месте появляется что-то другое — не обида, не злость, а странная, терпеливая тень разочарования, которую он тут же прячет за знакомой полуулыбкой.

— Хапи, — повторяет он, и в его голосе снова звучит та лёгкая ирония, что была весь вечер, будто ничего и не произошло. — Символ плодородия и изобилия. Египтяне считали, что без него вся страна умрёт от голода. Весьма неблагодарная работа — быть единственным, от кого зависит жизнь целой цивилизации.

Он поворачивается к воде вместе со мной, но я чувствую, что улыбка на его лице не совсем настоящая, и то, что он не произносит вслух, повисает между нами так же ощутимо, как минуту назад повисало невысказанное притяжение. Это не конец разговора. Просто я выиграла себе ещё немного времени.

* * *

Он отвечает что-то про гарантированную занятость Хапи ещё на ближайшие пять тысяч лет, и смех почти вырывается у меня, но в этот момент я замечаю, что снова стою слишком близко, и земля под ногами будто чуть кренится набок.

Я отступаю на полшага, прижимая ладонь к виску — жест небрежный, отрепетированный за секунду до того, как я его выполняю.

— Кажется, от заката у меня голова кружится не меньше, чем от твоих лекций, — говорю я, и голос звучит легко, почти весело, как будто ничего не случилось, как будто минуту назад я не смотрела на его губы так, как будто хотела их съесть.

Ник замирает. Всего на миг, но я успеваю увидеть это: тень, проскальзывающая по его лицу, что-то похожее на разочарование, прежде чем он гасит его улыбкой, настолько привычной, что я почти ей верю.

— Тогда нам определённо нужно присесть, — говорит он, кивая на реку, — пока ты не свалилась в Нил и не стала местной легендой. «Генетик из Сиэтла, утонувшая от переизбытка исторических знаний». Неплохой заголовок, кстати.

В его голосе та же ирония, что весь вечер, но под ней — что-то другое, не досада, а терпение. Будто он говорит: хорошо, беги сейчас, но я подожду.

Мы снова идём, и некоторое время молчим, слушая, как вода плещется о бетонные плиты набережной. Фонари зажигаются один за другим, и их отражения дрожат на поверхности реки длинными золотыми полосами. Где-то позади слышится музыка из кафе, арабская мелодия, обёрнутая вокруг барабанного ритма, и этот звук кажется таким же древним, как сам город.

Ник вдруг останавливается. Просто останавливается, посреди шага, и я по инерции делаю ещё один и оборачиваюсь к нему.

— Хватит, — говорит он негромко.

От этого слова и интонации, моё сердце пропускает удар, в сладком предчувствии.

— Что хватит?

— Вот этого. — Он очерчивает рукой воздух между нами. — Этого танца, который мы оба делаем вид, что не замечаем.

Прежде чем я успеваю придумать очередную шутку, он подходит ближе и притягивает меня к себе за талию, ладонью. Второй рукой касается моих волос, убирает прядь за ухо, медленно, будто у нас впереди вся ночь и некуда спешить. Я чувствую тепло его пальцев на скуле и, готова поклясться, они дрожат. Сердце падает куда-то вниз, как лифт с оборванным тросом.

— Ниик? — говорю я шепотом, и это звучит не как протест, а как вопрос.

Он не отвечает. Только смотрит мне в глаза так долго, что я забываю, как дышать, а потом наклоняется и касается губами уголка моего рта, легко, почти невесомо, как крыло бабочки, севшей на кожу. Я замираю. Он целует щёку, бровь, веко, и каждый раз это настолько нежно, что хочется плакать от того, как давно никто не прикасался ко мне с такой осторожностью, будто я могу разбиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.